МЫСЛИТЕЛИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
АНТОЛОГИЯ

Составление, предисловия и комментарии Михаила Эпштейна

В этой антологии представлены сочинения двух мыслителей: Якова Абрамова (1893-1966) и его ученика Ивана Соловьева (1944-1990?). Основные темы их мысли - личность, творчество, язык, любовь, религиозное призвание.
При жизни их тексты не публиковались и впервые собраны в этой книге.
Их наследие не только открывает неизвестные страницы интеллектуальной истории России 20-го века, но и очерчивает пути в будущее.

УЧЕНИЕ ЯКОВА АБРАМОВА

в изложении его учеников

Составление и предисловие М. Н. Эпштейна

ЛОГОС. Ленинградские международные чтения по философии культуры. Книга 1. Разум. Духовность, Традиции. Л., издательство Ленинградского университета, 1991, сс. 211- 254.

УЧЕНИЕ ЯКОВА АБРАМОВА

Яков Исаевич Абрамов /1893 - 1966/ - мыслитель, чье наследие еще мало известно и по достоинству не оценено. "Сократ нашего времени" - так отзывались о нем ученики - сам не написал ни одного труда. Но его мысли, беседы с ним оплодотворяли труды его многочисленных последователей, среди которых есть и видные деятели отечественной культуры: писатели, философы, ученые.

Данная книга - первая попытка систематического изложения идей Якова Абрамова на материале работ, написанных его учениками. В первом выпуске подобраны фрагменты, относящиеся к основе всех идей Якова Абрамова - его учению о Всеразличии. Характеризуются также некоторые направления гуманитарной мысли, возникшие в связи с учением Я.А. или в отталкивании от него. Книга составлена и прокомментирована одним из младших учеников Я.А., широко использовавшим материалы своего личного архива.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Имя Якова Исаевича Абрамова остается почти неизвестным специалистам-гуманитариям - философам, обществоведам, лингвистам, хотя каждая из этих дисциплин могла бы обогатиться его оригинальными и масштабными идеями. Тем более неизвестно это имя широкой публике, несмотря на растущий ее интерес к жизни и трудам

таких выдающихся мыслителей, как Даниил Андреевм Михаил Бахтин, Алексей Лосев, Яков Голосовкер... Яков Абрамов - или, как называли его в кругу друзей и собеседников, Я.А. - принадлежал к той же плеяде мыслителей-мучеников, пронесших за плечами тысячи километров проволоки и пурги.

В молодости он слушал лекции Вяч. Иванова и Н. Бердяева; в старости был окружен почтительным вниманием молодых слушателей, некоторые из которых стали впоследствии видными деятелями нашей культуры. Но лучшая часть жизни Я.А. пришлась на самые страшные годы в истории нашей страны: у него не было кабинета и стола, за которым он мог бы спокойно, сосредоточенно излагать свои мысли. Я.А. был говорящим и , что особенно редко и ценно, слушающим мыслителем. В беседе с ним, как бы одновременно с двух сторон, рождались те догадки и предположения, которые приобретали затем стройную форму у его учеников, ложились в основу статей, трактатов, диссертаций.

Насколько нам известно, даже после возвращения *оттуда* Яков Исаевич ни разу не пытался придать систематический вид своим воззрениям или хотя бы запечатлеть их на бумаге. Тем более ответственная задача выпадает на долю тех, кто хотел бы воссоздать единство его мысли из множества отпечатков, следов, оставленных в трудах его учеников и последователей. Целостную суть своего учения Я.А. нередко обозначал термином Всеразличие, контрастно обрисовывая его на фоне того учения о Всеединстве, которое принадлежало глубоко им почитаемому Владимиру Соловьеву (и легло в фундамент отечественной философской традиции). Поэтому именно с учения о Всеразличии и целособразно начать знакомство читателей с интеллектуальным наследием Якова Абрамова, постепенно переходя к другим его частям и разделам.

Ниже приводится ряд систематически подобранных фрагментов из тех трудов, где прямо или косвенно излагаются идеи Я.А. - как правило, без упоминания его имени. Такова была последняя воля Я.А.: он считал, что на сферу чистого мышления не должна распространяться категория авторства, вполне применимая лишь к плодам литературной деятельности. Тем не менее приводимые фрагменты, хотя и принадлежащие разным авторам, обнаруживают несомненную общность и повторяемость как в употреблении терминов, так и в самом способе философствования - общность учения, восходящего к незабываемым беседам Я.А., к единству его творческой личности.

В тех случаях, когда источник цитируемых высказываний не назван, они принадлежат самому Якову Абрамову и приводятся по записям составителя.

Слову не дано быть точным -
остается быть дерзким".
Я.А.

Мы стремимся к наиболее строгому обоснованию наиболее странных утверждений.

Из "Согласия учеников".

Учение Я.А. с трудом поддается систематическому изложению. Сам Я.А. иногда говорил, что наилучшая система - та, которая устраняет всякую системность, подобно тому, как наибольший многоугольник устраняет собственные углы. Тем не менее в учении Я.А. обнаруживается немало "углов", старательно заостренных суждений, словно бы нацеленных на создание системы - но никогда не достигающих цели. "Суть в том, - говорил Я.А. - что настойчивое уклонение от системы тоже может стать системой, наихудшей из всех - по привычке мы зовем ее хаосом, хотя было бы правильнее сказать: система отказов, или ситема поблажек".

Иван Соловьев разъясняет эту мысль: "Подобно тому, как в любом сообщении слова чередуются с паузами, а буквы с пробелами, так и мышление действенно лишь тогда, когда системные моменты чередуются в нем с бессистемными. И чем системнее одни и бессистемнее другие, тем ярче, рельефнее вырисовывается мысль. Пусть будет чернее карандаш и белее бумага" /"Эстетика в логике"/.

И действительно, Я.А. пользовался системностью лишь как одним из приемов контраста в своей картине мироздания: чтобы нажим в одних местах оттенял пробелы в других. "Чем больше усилий создать систему, тем достовернее ее невозможность. Усилие прекрасно как свидетельство невозможности. Невозможность привлекательна как итог усилий".

Это означает, что усилия необходимы в той же степени, в какой недосягаемы их цели: эта необходимость и недосягаемость образуют прекрасное целое мысли, дерзающе-безнадежной.

"Истина требует всей полноты доказательств, чтобы обнаружить свою недоказуемость. И тогда она созерцается как красота.

Красота требует предельного напряжения взора, чтобы обнаружить свою незримость. И тогда она совершается как добро.

Добро требует сосредоточения всех сил, чтобы обнаружить свое бессилие. И тогда оно постигается как истина" /Иван Соловьев "О трояком поражении"/.

Итак, что есть истина?

УЧЕНИЕ ЯКОВА АБРАМОВА

ЧАСТЬ 1. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Из всего учения Я.А. наиболее систематичным следует признать начальный его раздел, который относится к опыту и понятию Всеразличия. Вопреки ошеломляющей нетрадиционности своего учения, Я.А. считал необходимым вывести его из какого-то одного, самого первого основания, как это делало большинство философов, начиная с Фалеса.

Некоторые ученики проявляют скептицизм в отношении такой "догматической" постановки вопроса. Так, Андрей Тарский пишет: "Идея о перворазличиии - наиболее традиционная и наименее интересная часть учения Я.А. Хотя само содержание идеи вполне оригинально и ставит Я.А. выше многих исследователей данного вопроса, сам вопрос представляется слишком тривиальным, застывшим в рамках догматических систем философии. Может быть, именно эта связь с традицией привлекала Я.А., который тоже задыхался порой в разреженном воздухе высот и спешил спуститься обратно на землю, в тесноту давно проложенных путей. Во всяком случае, ему хотелось в каком-то пункте исходить непременно из традиции, переломить ее в той точке, где она глубже всего укоренилась. Ведь подрыв оснований возможен лишь из глубины оснований, из самого первого среди них" /А.Т., "О безначальном мышлении"/.

Хотя большинству учеников сам вопрос о том, что является первичным: дух или материя, чувство или разум, добро или зло - казался нелепым, Я.А. ставил его именно в этой заостренной форме: каково то первое начало, из которого выводятся все остальные. Безразличие к этому вопросу Я.А. считал признаком душевной лени и расслабленного ума. Плюрализм, охотно допускающий, что начал может быть сколько угодно много, Я.А. расценивал как философию крайне поверхностную, поскольку видимая множественность явлений и свойств механически превращается в множественность философских начал, при этом упраздняется различие между явлением и основанием, между поверхностью и глубиной. То основание, которое воистину лежит в основе всего, должно быть одним, поскольку оно призвано все объяснить; если бы оно не было одним, оно не объяснило бы всего, значит, не было бы основанием. Но это одно-единственное основание должно быть таково, чтобы из него выводилось - или оно само производило из себя - все многообразие существующих и возможных вещей.

Мы излагаем эту начальную часть учения Я.А. по работам его ближайший учеников:

Петр Флорский, "Первый день творения в мифологии, философии и религии";

его же, "Кто и Что. Два учения о первооснове".

его же, "В поисках Абсолюта, непохожего на Себя".

Константин Аверин. "От всеединства к всеразличию. Эволюция пансофских идей";

его же "Карта мира и картина Лица";

его же "Тьма над бездною. Перволицо России".

ОСНОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ. ВСЕРАЗЛИЧИЕ

"Я вхожу в этот мир - и вижу только различия, ничего, кроме различий. Одно темнее, другое светлее, одно ближе, другое дальше, одно хмурится, другое смеется. Одно "я", другое - "оно". Только различия и воспринимаются, только в них - правда и смысл. Не существует ничего, кроме различий, которые едины только в том, что они существуют. Того, что не различено, еще как бы и нет на свете. /.. ./Ничего нет, кроме различий, сквозь которые проступают лица. Лицо неба, лицо облака, лицо травы, лицо песчинки. Через разлиия все становится Лицом. Смотреть в Лицо миру - значит постигать его как совокупность непрерывно умножающихся различий...

Благодаря различиям, проступающим друг сквозь друга, мир становится все более оличенным, олицетворенным. Он творится в качестве Лица. И тогда постигаешь, что в основе такого всеобщего различения не может не пребывать Личность. Личность - это не бытие, не дух, не материя, но то, что отличает бытие от не-бытия, материю от духа, дух от материи - это начало всеразличения, с остротой меча прорезающее черты у мира и придающее ему "образ и подобие". Начало мироздания, то, в чем не могут не совпасть все философии, столь различные в определении этого начала, есть сама Личность, - Та, что различает, приводя к становлению все новые и новые личности. Каждое различение есть создание еще одного лица.

/.../ Только Ей, Личности, и можно молиться, только Она и свята, ибо все, что ни есть, становится личностью и приобретает лицо благодря Ей, как образ Ее и подобие. Любое существо, отличное от другого, ставшее собой, есть проявления этой всеразличающей Личности. Где найти ее, в чем удостовериться? Личности нет ни в какой субстанции, ни в каком атрибуте, ни в какой диалектике, ни в каком единстве, ни в каком множестве - Она живет только в различиях. И когда мы находим различие между двумя листами, упавшими с одного дерева, или двумя песчинками, слипшимися между собой, нас постигает откровение Личности. Вот чему надо молиться, вот во что надо вникать с усердием послушника и толкователя. Ибо эти различия - священный текст самого мироздания, язык, в котором, по словам лингвиста, нет ничего, кроме различий, потому что Словом был создан мир, Словом были отделены свет и тьма и вода от суши. А что есть Слово, как не меч всеразделяющий, которым Личность входит в плоть вещей и в сердца существ, различая мельчайшую частицу от еще наименьшей и сокровенный помысел от еще сокровеннейшего? Сказано: "Меч духовный, который есть Слово Божие"/ Еф., 6,17/. И еще сказано: "Ибо слово Божие живо и действенно и стрее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные" /Евр., 4,12/. Так разделение достигает до таинственного предела, где дух отделяется от души, последнее от предпоследнего. Вот на какой глубине обретается Личность, - и Она же созерцаема в разделении веток на дереве.

...На языке Писания "святить" - значит отделять. "Кадош" означает "святое" - и "отъятое", "отделенное". "Кадэш, кадэш, кадэш" - раздается у Исайи. Свят, свят, свят наш Господь. Он свят в пространстве - значит отделен от пространства, свят во времени - значит отделен от времени. Святить - значит отделять, и напротив, все отделенное - свято. В той мере, в какой эта вещь отделяется от всех других, подобных ей, она становится подобной самому Творцу, вечной Перволичности, отделяющей все от всего. Мы не можем постигнуть Личность иначе, как во всех этих разделениях, которыми каждое отличено от каждого. Мы не можем выполнить волю Личности иначе, как различая тоньше и глубже все, что нас окружает, внося в мир наибольшую сумму различий/.../.

У мира, в его зримости, есть некое свойство ясности, остроты. Бывают тусклые, погруженные в полусумрак миры, где степень различенности явлений сведена на нет. Эти миры как бы опущены в сон, и люди там живут, слабо отличаясь друг от друга, вытертые, сглаженные, одноликие, как и вещи вокруг них. Это миры сновиденья и забытья. По мере того, как мир пробуждается, он проникается все новыми и новыми различиями, как будто через него проходит незримое острие, делающее четче и раздельнее то, что раньше сливалось. Мир становитс ярче, в нем все явственнее проступает Личность, творящая одним своим присутствием полноту различий. Пробуждаясь, мы как бы принимаем эту Личность в свое существо, проникаемся Ею - уже не теряясь в том, что окружает нас, но становясь собою и радостно узнавая в лицо каждого из окружающих..."

Это лирическое вступление к книге Петра Флорского
"В поисках Абсолюта, непохожего на Себя" хорошо передает манеру мышления Я.А., вернее, те эпизоды из его бесед, когда мысль, переходя грань философствования, становилась гимном и молитвой. Но, одолев в мгновение ока огромное расстояние, мысль Я.А. возвращалась затем к исходной точке, чтобы заново, уже не лётом, а шагом и ползком, ощупывая все неровности почвы, проделать трудный, извилистый путь. Этот раздел его учения наиболее последовательно изложен в книге Константина Аверина "От всеединства к всеразличию. Эволюция пансофских идей";

"В начале каждой философской системы лежит некое первопонятие, из которого выводятся все остальные. В древнегреческой философии такими первоначальными выступали стихии воды /Фалес/ или огня /Гераклит/, понятия числа /Пифагор/ или бытия /Парменид/. /.../ Европейская философия еще больше умножила число этих начал: у Декарта - мышление, у Фихте - "я", у Гегеля - абсолютная идея, у Шопенгауэра - воля, у Маркса - материя... Всякий раз ищется нечто такое, что предшествовало бы всему другому и заключало бы в себе основу всех существований. Но отсюда вытекает опасность отнюдь не только философского свойства. Если один род существования предпочесть всем остальным и положить в их основу, этим выстраивается такая иерархия подчинения, которая неизбежно ведет к логическому, а при соответствующих условиях и к политическому

насилию. Если, например, исходить из материальной первоосновы и вторичности всех идеальных образований, то очень скоро идеальное начнет без остатка сводиться к материальному в ходе теоретической, а затем и практической редукции: интеллигенция, как мыслящее сословие, будет истреблена или подчинена нуждам материального производства, которое в свою очередь, испытывая недостаток идей, окажется в состоянии тупика и кризиса. Но и система, где господствует Идея, или Воля, или Я, или Число, обладает столь же разрушительными, а в конечном счете и саморазрушительными свойствами. Нельзя выбрать один момент бытия, отличный от других, и категорически, категориально предоставить ему первенство перед другими, не извратив естественную систему мировых отношений, где каждая сущность качественно несводима к другой и благодаря этому оправдана сама по себе. Монизм - это диктат одних сил бытия над другими, обретающий необходимую для себя практику в тотальном разрушении, где все многоразличные формы низводятся к одной из них - свой основе, имеющей якобы онтологический приоритет. /.../

Если начала, авторитетно утверждаемые крупнейшими философами, оказались столь различны, то не следует ли само Различие полагать началом всех начал для философии? Парадокс неизбежен: пытаясь обосновать некое единое начало, которое предшествует всяким различиям, мы приходим к различию самих начал и, следовательно, к Различию как первоначалу. В самом деле, какое бы начало мы ни взяли, оно не может быть абсолютным, поскольку выступает в своей определенности лишь благодаря отличию от всех других. Возьмем Бытие - очевидно, что оно определяется как таковое лишь в своем отличии от Не-бытия, и значит, Различие предшествует как тому, так и другому. Возьмем Тождество - оно определяеся своим отличием от Различия, и значит, Различие предшествует Тождеству, отличаясь в нем от самого себя. Как верно заметил Гегель, "если тождество рассматривается как нечто отличное от различия, то у нас, таким образом, имеется единственно лишь различие". (1)

Сам Гегель, к сожалению, пренебрег этим выводом в построении своей философии, косвенные последствия чего мы до сих пор ощущаем не в каких-то отвлеченных материях, а на собственной шкуре. Казалось бы, отличая бытие от небытия, а их обоих от становления, Гегель уже "де факто" вводит различие как первоначало, и то "различие", которое возникает у него в параграфе 116, есть лишь объективизация и признание "де юре" того Различия, которое определяет изначально весь порядок возникновения прочих категорий и главенствует уже в первой фразе первого параграфа: "Философия лишена того преимущества, которым обладают другие науки". (2) Отличая философию от других наук, Гегель должен был бы именно в "различии" усмотреть ту основополагающую категорию, в которой философия может судить о себе и своих основаниях.

Однако Гегель начинает построение своей системы именно с неразличенности - с "бытия, чистого бытия, без всякого дальнейшего определения. В своей неопределенной непосредственности оно... не имеет никакого различия ни внутри себя, ни по отношению к

внешнему". (3) Очевидно, что бытие в своей неразличенности есть совершенно пустая категория, по признанию самого Гегеля, совпадающая с ничто, - и в этом выразилась глубочайшая, хотя и совершенно сознательная ошибка мыслителя, предопределившая все абсолютистски-тоталитарные притязания как его собственного идеализма, так и материализма его учеников. Ведь первоначало, коль скоро оно объявлено таковым, с неизбежностью воспроизводится во всех дальнейших построениях системы и ее дочерних систем, через которые оно постоянно и неуклонно возвращается к самому себе. Как правильно установил сам Гегель, "движение вперед есть возвращение назад в основание, к первоначальному и истинному, от которого зависит то, с чего начинают... Начало продолжает лежать в основе всего последующего и не исчезает из него... Начало философии есть наличная и сохраняющаяся на всех последующих этапах развития основа, есть то, что остается всецело имманентным своим дальнейшим определениям". (4)

И если Гегель в завершение всей своей системы приходит к абсолютному снятию реальности в идее, к самотождественности понятия, раскрывшего себя в себе, то к этому его побуждает избранное системой начало - неразличенное в себе, абсолютно пустое и чистое бытие. "Таким образом и логика возвратилась в абсолютной идее к тому простому единству, которое есть ее начало; чистая непосредственность бытия, в котором всякое определение представляется сначала стертым или опущенным путем абстракции, есть идея, вернувшаяся путем опосредования, а именно путем снятия опосредования, к своему соответствующему равенству с собой". (5)

Что это такое: "простое единство, которое есть ее начало", на опыте показывает нам окружающий мир - итог саморазвития гегелевской идеи, прошедшей через ее марксистское отрицание и вернувшейся к непосредственности самого бытия в его голом равенстве с собой и отталкивании всяких различающих определений. Социализм, по утверждению известного современного автора, за которым среди учеников закрепились инициалы И.Ш., есть коллективное влечение к Ничто, к самоуничтожению. И.Ш. прав и неправ, поскольку то Ничто, о котором он толкует, есть вместе с тем "бытие, чистое бытие - без всякого дальнейшего определения". Таков в социалистическом мире труд, собственности, пища, любовь, народ - разумеется, в той мере, в какой они социалистичны, - это чистейшая абстракция труда, собственности, пищи, в которой всякие "дальнейшие определения": какая пища? чья собственность? для чего труд? - лишены смысла и не соответствуют действительности. Если следовать логике исторического развития социализма из мысли Гегеля через посредство Маркса, то он есть "чистая непосредственность бытия", которая вместе с тем есть ничто. Голод - это ничто пищи, отвлечение от ее вкусовых и питательных свойств, качественного разнообразия - чистая калорийность. Бедность - это ничто собственности, абстракция от ее принадлежности каким-либо реальным субъектам - чистая коллективность, "всеобщность" или "ничейность". Лень - это ничто труда, абстракция от его конкретных целей и нужд, превращению в общеобязательное и ничем не заполненное времяпрепровождение,

"рабочее время" /с такой абстракцией результата, как "трудодень"/. "Бытие, неопределенное непосредственное, есть на деле ничто и не более и не менее, как ничто". (6)
Голод, бедность, лень - таковы формы этого ничто как неразличенного в себе бытия.

Идеализм Гегеля, пройдя через самоотрицание в материзлизме Маркса, перешел в торжество материалистической идеологии, которая, утверждая /по Марксу/ первенство материи, в то же время постоянно демонстрирует /по Гегелю/ превосходство идеи - и в результате заканчивает их взаимным уничтожением. Идея отрицает себя в примате материи, материя отрицает себя в примате идеи, что ведет к неразличению того и другого, к опустошению как идеальности, так и материальности, а следовательно, к такому состоянию "неопределенного бытия", которое в чистом виде есть " не более и не менее, как ничто". Вот почему начинать с неразличенности, с бытия как такового, находясь в самом конце разрушительных последствий такого начала, по меньшей мере опрометчиво, а "по большей" - преступно...

Итак, если мы ищем, побуждаемые духом самой философии, некоего единого начала, которое могло бы предшествовать остальным, не совершая насилия над ними, то таковым может быть только Различие. Оно изначально привходит в определение любого начала, отличая его от всех других и от самого себя. В Различии заключена способность непрерывного саморазличения, т. е. умножения сущностей при сохранении самого различия как единящего и порождающего начала начал. Принцип различия единственно универсален, поскольку не только допускает, но и предполагает другие принципы, отличные от себя: и материалистические, и идеалистические, и монистические, и дуалистические, и диалектические, и догматические, и критические, и рационалистические, и волюнтаристические - и всякие другие принципы, в утверждении и различении которых он подтверждает собственное господство. (...)

Новы ли наши утверждения? Нет, не новы. Вспомним Платона, который в своих рассуждениях о Едином (и, значит, Первом) приходит к удивляющему собеседников выводу, что Единое, чтобы быть Единым, должно отличаться от самого себя, причем его отличие от Другого и отличие Другого от Единого - это одно и то же отличие, то, что мы и называем Перворазличием.

"...Единое, по-видимому, должно быть-иным по отношению к самому себе...В какой мере единое отлично от другого, в такой же мере другое отлично от единого, и, что касается присущего им свойства "быть отличным", единое будет обладать не иным каким-либо отличием, а тем же самым, каким обладает другоех ("Парменид", 148а).

По сути, здесь указано на то, что "единым", "тем же самым" является само отличие как первооснова, позволяющая отличить единое от другого и другое от единого. Логика Платона наивна и гениальна: отличается ли единое от чего-либо или не отличается, оно все равно

заключает в себе различие. Если единое отличается от не-единого, значит, рядом с ним имеется нечто другое; если оно не отличается от не-единого, т. е. подобно ему, значит, оно само заключает в себе нечто другое. Или оно отличается от чего-то другого, или оно отличается от самого себя.

Оба эти вида различия свернуты в Перворазличии, из которого в дальнейшем развертываются как формы пространства и времени. Пространство и есть не что иное, как совокупность разделений - отличий одного от другого, а время - совокупность изменений, отличий данного от себя. Но само различие между этими двумя формами различения, т.е. между пространством и временем, возникает позже, когда Перворазличию приходит черед различаться в самом себе и в своих дальнейших разновидностях.

Итак, наши положения не новы... Но знаменательно, что и Платон, в практических выводах своего мышления, отдал приоритет "тому, что причастно вечно тождественному..., само тождественно и возникает в тождественном" /"Государство", 58с/ (7) , что увенчалось идеей тиранического социализма.
У Платона это даже нагляднее, "картиннее", чем у Гегеля: то вечно-тождественное, что образует начало мироздания, выступает в конечном счете в образе начальница, указания которого вносят полную тождественность в жизнь подчиненных.

"Самое главное здесь следующее: никто никогда не должен оставаться без начальника - ни мужчины, ни женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению...надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям./.../ Словом, пусть человеческая душа приобретет навык совершенно не уметь далать что-либо отдельно от других людей и даже не понимать, как это возможно"/"Законы", 942 а- д/.

Платон обнажает тайну того философского начала, которое покоится на тождестве или "непосредственном бытии" - оно есть по сути своей начальник, нуждающийся в послушании и подчинении. "Пусть жизнь всех людей будет возможно более сплоченной и общей/.../ Надо начальствовать над другими и самому быть у них под началом. А безначалие должно быть изъято из жизни всех людей и даже животных, подвластных людям" . (8)

Так что "вечно тождественное" или "чистое бытие" - излюбленное, принципиальное понятие и Платона, и Гегеля - приводит обоих мыслителей в конечном счете к изъятию различий из структуры бытия, к торжеству всеединства как самотождественности и к соответствующим политическим идеалам абсолютного государства, которые реализовались в духе этих учений, хотя и за их пределами.

/.../ Значит, недостаточно теоретически признавать роль различия, необходимо положить Различие в основу практической

нравственности: любить Различие, черпать в нем источник радостного созерцания и отважного действия, которое творило бы игру новых и новых различий. Различие удивительно тем, что быть собой оно может лишь не будучи собой; сохранять верность себе - лишь непрерывно отличаясь от себя. Тождество, обосновывая себя, исключает другое. Бытие, обосновывая себя, порождает бытие, воля - волю, самость - самость. Лишь различие, чтобы обосновывать себя, должно порождать другое. Лишь различие имеет основание само в себе, ибо все другое имеет основание в том, от чего оно отличается, ибо не существует бытия без не-бытия, воля без не-воли. Различие же само есть то, что не есть оно, поэтому только различие вполне едино с собой и не нуждается для обоснования ни в чем, кроме того, что есть оно само. И конечно же, различие предшествует тождеству, поскольку тождество само отличается от различия и является лишь одним из моментов его отличия от себя. Тождество *отличается* от различия, различие же *не тождественно* тождеству - в этой ассиметрии между ними вся правда и первенство различия. В нем заключаеся первопричина всего, ибо, бесконечно отличаясь от самого себя, оно способно порождать все новые отличия. /.../

Но *различие*, а не *множество*... Есть опасность спутать одно с другим. Насколько дух углубляется, вникая в различие, настолько он рассеивается, созерцая множество. Множество лиц в толпе, множество книг на полке - великая пустыня духа, притом, что различие двух лиц или двух книг моментально делает их интересными. В тождестве и во множестве есть что-то одинаково плоское, безразличное, безотрадное, на что душа отзывается обмороком или оцепененнием - и только вспышка какого-нибудь различия приводит ее в себя. Только различие имеет душу и лицо. Вот почему великое множество монад в лейбницевой системе не приносит подлинного внутреннего удовлетворения. Хотя все монады различаются между собой, эти различия тонут в их необозримом множестве. Множество начал /идея, материя, бытие, ничто.../ - это лишь результат различающего действия первоначала. Вот почему плюрализм, как философия множества, лишена глубины и порождающей силы - ибо не восходит к единому Перворазличию, откуда исходят множества, а удовлетворяется лишь наличными последствиями его работы. Формы, субстанции, культуры /как, например, у Шпенглера/ берутся в качестве различных, несводимых друг к другу, но сам исходный и завершающий смысл различения, его движущая сила и пафос Абсолютного, оказываются погребенными в *безразличном приятии этого различного*."

"Суть философии Всеразличия - не только признание различий, но и соучастие в их порождающей деятельности. Поскольку Различие имеет собственную безусловную ценность и обоснование в себе самом, постольку и я, и ты, и все мы находим в Нем свое обоснование; мы признаем не множество равноправных и безразличных друг к другу начал, а единое начало Всеразличения. Плюрализм слишком часто предполагает безразличное приятие вего того, что само в себе глубоко различно. Если монизм, как обозначилось выше, есть философия

насилия, подчинения одних начал другим, то плюрализм выступает как философия бессилия, разом признающая все начала без того, чтобы как-то направлять изнутри их становление. Монизм и плюрализм сближаются, как ни странно, своей "всеобщностью", которая трактуется то как единство многих, то как множество единиц, но в любом случае безразлична к тому, почему единое должно различаться во многом и почему многое объединяется своими различиями. Здесь - насильственное равенство, там - равнодушное приятие. Но активное различение, приносящее именно Различному ту дань и жертву, усилие и страдание, какие обычно приносятся только Единому, Общему, - это дело нового мировоззрения. Здесь обнаруживается его сила, не переходящая в насилие. Нет ничего сильнее этой силы, где различное проявляет свою волю к еще более полному и глубокому различению, ощущая в этом свое единственное право и возможность приобщения к Первоначалу".

Последнее свидетельство взято из статьи Сергея Эйхенбаума "Полимонизм - это не система, это героика". Следует заметить, что к термину "полимонизм" Я.А. относился с сомнением, хотя сам однажды невзначай образовал его - в пылу беседы - из двух противоположных латинских основ /"многое" и "единое" - "многоединое"/. Собеседник, С. Э., подхватил словечко и через месяц принес готовую рукопись под названием "Полимонические этюды". Содержание Я.А. одобрил, а термин забраковал: "Многое...единое... Как раз самое главное между ними и пропадает. И вообще оксимороны - не по нашей части. Вон их сколько власть понаделала: и "борьба за мир", и "материалистическая идейность", и "героика будней", и "оптимистическая трагедия", а еще "интернациональное и патриотическое воспитание", "единство в многообразии" - все из той же оперы, где главную партию исполняет сама партия".

Тем не менее С.Э. оставил термин - а всю работу переписал и название переменил. Таково было влияние Я.А. - побуждало не к согласию, а к инакомыслию. За его словами вдруг обнаруживались новые возможности - и уже было не важно, что именно он говорил.

Примечания

1. Гегель Г.В. Ф. Энциклопедия философских наук., т.1, Наука логики, $ 116, М. 1974, с.272.

2. Введение, $.1. Там же, с.84.

3. Гегель Г.В.Ф. Наука логики, Т.1, разд.1, гл.1, А. М. 1970, с. 139-140.

4. Гегель Г.В.Ф. Наука логики, т.1, разд.1, гл. 1, А. М. 1970, с. 127-128.

5. Гегель Г.В.Ф. Наука логики, т.3, разд.3, гл.3, М. 1972, с.309.

6. Гегель, Наука логики, т. 1, разд.1, гл.1, А, с. 140.

7. Платон. Соч.в 3 тт., т.3, ч.1, М. 1971, с.410.

8. Платон. Соч. в 3 тт.. т.3, ч.2, М. 1972, с.444-445.

УЧЕНИЕ ЯКОВА АБРАМОВА

ПЕРВОЛИЧНОСТЬ. "Что" или "Кто"?

Излагая учения Я.А., мы не можем избежать ни повторов, ни обрывов, потому что пользуемся работами многих учеников, слушавших его порознь, а если и вместе, то по-разному понявших, по-разному истолковавших, по-разному развивших. Я.А. никогда не проговаривал своего учения по порядку, от начала до конца, - но только отрывками, уместными с тем или другим собеседником. И само учение - существует ли оно? Быть может, есть только ученики, которых до сих пор еще что-то объединяет, несмотря на все расхождения и порой смертельную вражду... Я пытаюсь восстановить эти клочки исчезающего единства и дерзаю называть это учением - только потому, что кого-то и когда-то оно чему-то научило. Поскольку беседы проходили в основном наедине, Я.А. не мог не повторять одного и того же десятки раз, - но по этой же причине между стихийно возникавшими темами и интересами нет прямой связи, единой линии становления. Вот почему повторы и разрывы - следствие одной и той же особенности учения: его обращенности к каждому отдельно, а не ко всем вместе. Может быть, и не нужно было бы собирать эти извлечения из разных учеников и оставить все, как есть, пусть каждый читает, кого захочет. Но чем заменить и как выразить присутствие Я.А. в этих разноречивых суждениях и бесконечно вольных, а то и произвольных истолкованиях? Я хотел бы только, чтобы голоса всех этих книг на короткое время соединялись и заговорили голосом самого Я.А.

"Итак, в своем поиске основания всех оснований мы подошли к Различию. На вопрос:что лежит в основе всего - нельзя ответить точнее. И тем не менее этот ответ вряд ли удовлетворяет нас. Ибо что же представляет собой Различие как таковое, без тех вещей, явлений, сущностей, которые оно различает? Очевидно, что само по себе Различие с необходимостью предполагает то, между чем оно различает, иначе оно оказывается всего лишь абстракцией различия, а не самим различием. Вопрос теперь ставится так: что такое Различие не как абстракция, оторванная от различенных вещей, а как действительное и единое основание, которое заключает в себе не только то, что различает, но и то, что различается?

Такое Различие, которое первоначально и единоначально, не может различать ничего ни с чем, кроме как себя с собой. Такое Различие, которое различает не что-то с чем-то, а себя с собой, есть Личность. Здесь мы получаем единственно возможный ответ на первоначальный вопрос об основании оснований - при этом уточняется сам вопрос: не

что лежит, а *кто* стоит в основании всех оснований? Ибо различие, которое различает себя с собой, не может быть чем-то, но лишь Кем-то; всякое "что" отличается лишь от другого, и только "кто" отличается от самого себя. Отличие от себя, способность иметь себя в качестве иного - свойство Личности, и Личность есть то, что отличается от себя; отличающее вместе с отличающим - в одном лице. Сначало Кто, и лишь потом что, сначала отличие от себя, потом отличие от другого. (Никогда в житейском и духовном нашем опыте "кто" не появляется из "что", но всегда "что" из "кто", неодушевленное из одушевленного, одушевленное из одушевляющего). Причем это "Кто" выступает в данном случает в своей определенности не по отношению к другим существам или сущностям, которых просто-напросто еще нет, а по отношению к самому себе, т.е. как Личность, в ее способности самоопределения и смаоразличения. Личность - это различие, из себя происходящее и себя производящее, единство Различающего и Различаемого, и потому она действительно является тем основанием, из которого могут быть выведены все другие основания, в их различиии между собой" /Константин Аверин. "Кто и Что: два учения о первооснове"/.

"Библейская картина миротворения с самого начала показывает нам, что собственно творческим и превоосновным является акт различения. "В начале сотворил Бог небо и землю" /Бытие, 1.1/. Заметьте, что здесь сказано: "мир", "природу", "вселенную" - творится не одно , а два, земля и небо, разница между которыми и раскрывает сущность и цель творения как различения. Нет ничего, что предшествовало бы этому разделению, оно - в *начале* творения и в *начале* Писания. И далее эти акты разделения поступательно сменяют и обогащают друг друга, производя все разнообразие известного нам мира. "...И отделил Бог свет от тьмы... И разделил между водою, которая под пространством, и между водою, которая над пространством..." Разделение проводится в пространстве: верхняя вода отделяется от воды... ; разделение проводится во времени: утро отделяется от вечера, день первый от дня второго... Мир - это разделения и границы, положенные внутрь мира. И нет никакой единой "субстанции" или "универсума" до этого разделения.

Нет *ничего*, но есть *Кто*, от которого происходят все эти разделения, - не потому ли, что Он сам изначально отделяет Себя от всего и даже в самом себе проводит разделение существования и сущности. В Библии редко употребляется слово "различие", ибо оно предполагает слишком явное указание на то, что именно различается, а в отношении Перволичности это должно оставаться тайной; зато, в качестве более точного синонима, несущего апофатический смысл, употребляется "нет подобия". "...Дабы ты узнал, что нет подобного Мне на всей земле" /Исх., 9, 14/, "Кому уподобите Меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны?... Нет подобного Мне" /Ис., 46, 5,9/.

Итак, Бог не имеет подобия ни в ком и ни в чем, и поэтому единственное достоверное Его свойство - это сама Единственность, подобие лишь Самому Себе. Но в таком подобии, которое выступает как определение себя через себя, таинственно проступает значение

самого предела. "Я есмь Тот, Кто есмь" - так отвечает Бог Моисею в ответ на просьбу назвать Имя Его. В самом Имени содержится двойное "есмь", различение которых и раскрывает глубину Перволичности: слово "Который", "Тот Кто", стоящее между ними, знаменует границу, которой Сущий отграничивает сущее от сущего, себя от себя. Так же, как в начале творения небо было отделено от земли, так в самом бытии Творящего различают себя "есмь" - существование и "есмь" - сущность; бытие, чтобы определить себя как истинно изначальное, отличает себя от себя, и только в этом самоопределении, саморазличении - тайна его первоединства. /.../

"Неопределенная непосредственность бытия"
/Гегель/? Нет, с ясного самоопределения и начинается бытие, которое опосредует "есмь" и "есмь" через Кто - и Кто раскрывает себя в различении этого бытия-наличия /"Я есмь"/ и бытия-личности /"Который есмь"/. В первом случае "есмь" берется как глагол-связка, во втором - как знаменательный глагол. "Я являюсь Тем, Кто существует". Само бытие в своем Творце изначально подразделяется на "явленность" и "существенность", на "есмь-1" и "есмь-2". Не из этого ли изначального предела, проведенного Творцом в своем самоопределении, возникают все дальнейшие разделения между частицами природы и отрезками времени, между небесными телами и родами существ, между всеми тварями и творениями, столь обильными на земле? Само Имя, с его двойным "есмь" - не оно ли есть то всеразделяющее Слово, подобное обоюдоострому мечу, которым был сотворен и продолжает твориться мир? И это "ашер", стоящее всегда посредине, разделяющее главную и придаточную части предложения - "Тот/ Кто" - не в нем ключ ко всей грамматике мироздания?"/ Петр Флорский. "Первый день творения в мифологии, философии и религии"/.

"Поскольку суть Личности - саморазличение, то первым же своим актом она отделяет себя от себя. Это отделенное "себя" есть мир, а "я", отделившее себя, есть Личность. Мир есть все, отличное от Личности, все, что не есть она. Поэтому Перволичность всегда воспринимается как Кто-то за пределами мира, и это запредельность образует главное ее свойство для тех, кто в мире. По мере умножения и развития всяческих различий сама Личность все более удаляется от нас в какую-то неизвестность и запредельность, вызывая рост неверия и безнадежности; а мир, оставленный ею, разбухает и множится в своих бессчисленных разделениях, приобретая все большую власть над своими обитателями, заслоняя их своей растущей массой и сложностью от бытия самой Перволичности. Но запредельность Личности не есть ее слабость, мнимость, чуждость, неодстаточность - напротив, в этом сказывается ее подлинное, непрерывно возрастающее присутствие с нами в качестве Личности, а не "единого", или "всего", или "идеи". Ведь сама отличенность мира от Личности есть проявление собственного ее свойства - все отличать от себя и быть отличной от всего. Она присутствует во всех различиях, которыми умножается сложность этого мира, и чем дальше эта Личность от нас, тем она ближе к нам; по ступеням всех разделений она сама движется нам навстречу...

Личность именно в том, что отличает меня от нее, в том, что ставит между нами бесконечный ряд пространств и времен. Ведь само время есть жизнь Личности в ее отличии от себя, а пространство - в ее отличии от другого. Поэтому Личность всегда далека, дальше самого дальнего, дальше всех галактик и миллиардов световых лет - но это и есть ее воля - пребывать с нами, делая нас свободными. Вещество, растение, животное, человек - это стадии отличения Личности от себя и ее растущего обоснования в себе. Человек дальше от Личности, чем растение - и одновременно ближе ей, ибо он есть личность в себе. Поскольку я бесконечно отличаюсь от Личности, я дальше отстою от нее, чем любое другое существо в мире; Она скрывается от меня за непроницаемой толщью, как самое Другое, Иное, Непостижимое. Но в самой этой инакости Она пребывает во мне и полнее и глубже, чем если бы находилась в нескольких шагах от меня. "Расстояние между тобой и мной - это и есть ты", - как сказал, обращаясь к Ней, один из учеников Я.А., поэт И.Ж. Она отдаляется от меня с тою же скоростью, с какой настигает. Отсюда - неизбывная тоска, которую испытывает человек в одиноких временах и пространствах мира, и крепнущее ожидание, которое обращено к незибежности предстоящей встречи. Мы удаляемся от Личности как предшествующей различиям и приближаемся к Личности как проявляющейся в различиях. Поэтому будт возрастать атеизм, как ощущение этой удаленности и Богооставленности - и одновременно будет возрастать новый теизм грядущего Богоявления, второй Встречи.

"При конце этого мира, - писал Ориген, - будет великое разнообразие и различие, и это разнообразие, полагаемое нами в конце этого мира, послужит причиною и поводом новых различий в другом мире, имеющем быть после этого мира" /"О началах"/. Чем больше различий в мире, тем полнее является в нем образ самой Личности, сотворившей мира в его отличии от себя. Мир, порожденный Отличием, в конечном счете и завершится им.

Но это уже будет такое отличие, которое включает в себя не только разницу, но и высшую степень качества - соответственно двум своим значениям в самом языке. "Отличное" - не только то, что несходно с другим, но и то, что превосходит все другое. "Хорошее" и "плохое" в равной степени отличаются друг от друга, но само это различие между ними является добрым признаком, оно прибавляется к этому хорошему и содействует его преобладанию над плохим. Как подмечено К.С. Льюисом, "созревая, каждое благо все сильнее отличается не только от зла, но и от другого блага". /"Расторжение брака"/. Это означает, что благом является и само по себе различие, коль скоро оно способствует созреванию других благ; а отсюда следует, что по мере различения благ и зол Блга становится больше, чем Зла. На стороне Блага - непобедимый воин, имя которому Отличие. "Живые существа тем больше разнятся, чем они совершенней" /там же/. Различие - признак возрастающего совершенства. Вот это взаимосвязь двух признаков и запечатлелась в слове "отличие", которое означает и "разницу", и "заслугу" - ибо разница и есть заслуга. Сама непохожесть одной вещи на другую выступает как превосходное качество вещей.

...Так мыслится нами кончина мира: всякое "непохожее" перейдет в "превосходное", каждое свойство и явление, отличаясь от другого свойства и явления, станут отличными сами по себе, достигнут высшей степени качества благодаря возрастающей определенности. Отличное "от" станет отличным само по себе, поскольку не будет "другого", от чего производится отличие; но этим другим станет каждая вещь для себя, ибо достигнет наибольшего качества и превосходства в своем роде. Отличность станет состоянием мира. Каждая вещь, отличаясь от подобных себе, в конечном счете станет всем в себе и для себя. Тогда мир начнет исчезать - мир как некая всеобщность, однородность пространства и времени, протяженность субстанций и атрибутов. Все, что не содержит отличий, исчезнет само собой. Количества истают в качества. Мир как совокупность внешних условий, одинаковых для всех, упразднится, - останется Личность и все созданные ею отличия. "Отличность" - снятость всех различий внутри вещи, которая станет самой - не самой большой, или самой красивой, а самой такой, какова она есть, т.е. самой собой, Превосходством как суммой всех своих несходств. При этом она может не утратить и не прибавить ни грана вещества, но засияет, как кристалл, все грани которого отполированы тончайшим резцом Различия и потому лучатся в свете Смысла. Вещь станет Словом, поскольку оно состоит из одних различий.

Итак, различия уводят от Личности, но они же и приводят к Ней. Личность явится миру из самого мира, из полноты его различий, и первое станет последним, альфа поменяется местами с омегой, и то, что предшествовало всему, будет следовать из всего, вытекать из каждой капли, вырастать из каждого ростка. На распутьях всех дорог, в разветвлениях всех деревьев, в размышлениях всех людей забрезжит свет Различия, солнце Личности. Мир родит того, Кто сотворил мир, и Бог-Отец явится из недр его как Бог-Дитя. Кто отличит последнюю вещь в мире от предпоследней, кто последнего человека научит отличать себя от себя, - тот и явит Личность как Завершение. Мир вокруг такой Сверхличности светится ярче и виднеется глубже во всех тончайших прожилках своих, точно вещество обрело упругость сердца, сложность мозга, выразительность глаза - олицетворилось до последних своих оснований, вместило Перволичность не только как начало, но и предел всех различений. /Илья Миркин. "Сумма различий", гл. 7, "Лист на свету"/.

ПЕРВОЛИЧНОСТЬ. "Что" или "Кто"?

Излагая учения Я.А., мы не можем избежать ни повторов, ни обрывов, потому что пользуемся работами многих учеников, слушавших его порознь, а если и вместе, то по-разному понявших, по-разному истолковавших, по-разному развивших. Я.А. никогда не проговаривал своего учения по порядку, от начала до конца, - но только отрывками, уместными с тем или другим собеседником. И само учение -

существует ли оно? Быть может, есть только ученики, которых до сих пор еще что-то объединяет, несмотря на все расхождения и порой смертельную вражду... Я пытаюсь восстановить эти клочки исчезающего единства и дерзаю называть это учением - только потому, что кого-то и когда-то оно чему-то научило. Поскольку беседы проходили в основном наедине, Я.А. не мог не повторять одного и того же десятки раз, - но по этой же причине между стихийно возникавшими темами и интересами нет прямой связи, единой линии становления. Вот почему повторы и разрывы - следствие одной и той же особенности учения: его обращенности к каждому отдельно, а не ко всем вместе. Может быть, и не нужно было бы собирать эти извлечения из разных учеников и оставить все, как есть, пусть каждый читает, кого захочет. Но чем заменить и как выразить присутствие Я.А. в этих разноречивых суждениях и бесконечно вольных, а то и произвольных истолкованиях? Я хотел бы только, чтобы голоса всех этих книг на короткое время соединялись и заговорили голосом самого Я.А.

"Итак, в своем поиске основания всех оснований мы подошли к Различию. На вопрос:что лежит в основе всего - нельзя ответить точнее. И тем не менее этот ответ вряд ли удовлетворяет нас. Ибо что же представляет собой Различие как таковое, без тех вещей, явлений, сущностей, которые оно различает? Очевидно, что само по себе Различие с необходимостью предполагает то, между чем оно различает, иначе оно оказывается всего лишь абстракцией различия, а не самим различием. Вопрос теперь ставится так: что такое Различие не как абстракция, оторванная от различенных вещей, а как действительное и единое основание, которое заключает в себе не только то, что различает, но и то, что различается?

Такое Различие, которое первоначально и единоначально, не может различать ничего ни с чем, кроме как себя с собой. Такое Различие, которое различает не что-то с чем-то, а себя с собой, есть Личность. Здесь мы получаем единственно возможный ответ на первоначальный вопрос об основании оснований - при этом уточняется сам вопрос: не *что* лежит, а *кто* стоит в основании всех оснований? Ибо различие, которое различает себя с собой, не может быть чем-то, но лишь Кем-то; всякое "что" отличается лишь от другого, и только "кто" отличается от самого себя. Отличие от себя, способность иметь себя в качестве иного - свойство Личности, и Личность есть то, что отличается от себя; отличающее вместе с отличающим - в одном лице. Сначала Кто, и лишь потом что, сначала отличие от себя, потом отличие от другого. (Никогда в житейском и духовном нашем опыте "кто" не появляется из "что", но всегда "что" из "кто", неодушевленное из одушевленного, одушевленное из одушевляющего). Причем это "Кто" выступает в данном случает в своей определенности не по отношению к другим существам или сущностям, которых просто-напросто еще нет, а по отношению к самому себе, т.е. как Личность, в ее способности самоопределения и смаоразличения. Личность - это различие, из себя происходящее и себя производящее, единство Различающего и Различаемого, и потому она действительно является тем основанием, из которого могут быть выведены все другие

основания, в их различиии между собой" /Константин Аверин. "Кто и Что: два учения о первооснове"/.

"Библейская картина миротворения с самого начала показывает нам, что собственно творческим и превоосновным является акт различения. "В начале сотворил Бог небо и землю" /Бытие, 1.1/. Заметьте, что здесь сказано: "мир", "природу", "вселенную" - творится не одно , а два, земля и небо, разница между которыми и раскрывает сущность и цель творения как различения. Нет ничего, что предшествовало бы этому разделению, оно - в *начале* творения и в *начале* Писания. И далее эти акты разделения поступательно сменяют и обогащают друг друга, производя все разнообразие известного нам мира. "...И отделил Бог свет от тьмы... И разделил между водою, которая под пространством, и между водою, которая над пространством..." Разделение проводится в пространстве: верхняя вода отделяется от воды... ; разделение проводится во времени: утро отделяется от вечера, день первый от дня второго... Мир - это разделения и границы, положенные внутрь мира. И нет никакой единой "субстанции" или "универсума" до этого разделения.

Нет *ничего*, но есть *Кто*, от которого происходят все эти разделения, - не потому ли, что Он сам изначально отделяет Себя от всего и даже в самом себе проводит разделение существования и сущности. В Библии редко употребляется слово "различие", ибо оно предполагает слишком явное указание на то, что именно различается, а в отношении Перволичности это должно оставаться тайной; зато, в качестве более точного синонима, несущего апофатический смысл, употребляется "нет подобия". "...Дабы ты узнал, что нет подобного Мне на всей земле" /Исх., 9, 14/, "Кому уподобите Меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны?... Нет подобного Мне" /Ис., 46, 5,9/.

Итак, Бог не имеет подобия ни в ком и ни в чем, и поэтому единственное достоверное Его свойство - это сама Единственность, подобие лишь Самому Себе. Но в таком подобии, которое выступает как определение себя через себя, таинственно проступает значение самого предела. "Я есмь Тот, Кто есмь" - так отвечает Бог Моисею в ответ на просьбу назвать Имя Его. В самом Имени содержится двойное "есмь", различение которых и раскрывает глубину Перволичности: слово "Который", "Тот Кто", стоящее между ними, знаменует границу, которой Сущий отграничивает сущее от сущего, себя от себя. Так же, как в начале творения небо было отделено от земли, так в самом бытии Творящего различают себя "есмь" - существование и "есмь" - сущность; бытие, чтобы определить себя как истинно изначальное, отличает себя от себя, и только в этом самоопределении, саморазличении - тайна его первоединства. /.../

"Неопределенная непосредственность бытия"
/Гегель/? Нет, с ясного самоопределения и начинается бытие, которое опосредует "есмь" и "есмь" через Кто - и Кто раскрывает себя в различении этого бытия-наличия /"Я есмь"/ и бытия-личности /"Который есмь"/. В первом случае "есмь" берется как глагол-связка, во втором - как знаменательный глагол. "Я являюсь Тем, Кто

существует". Само бытие в своем Творце изначально подразделяется на "явленность" и "существенность", на "есмь-1" и "есмь-2". Не из этого ли изначального предела, проведенного Творцом в своем самоопределении, возникают все дальнейшие разделения между частицами природы и отрезками времени, между небесными телами и родами существ, между всеми тварями и творениями, столь обильными на земле? Само Имя, с его двойным "есмь" - не оно ли есть то всеразделяющее Слово, подобное обоюдоострому мечу, которым был сотворен и продолжает твориться мир? И это "ашер", стоящее всегда посредине, разделяющее главную и придаточную части предложения - "Тот/ Кто" - не в нем ключ ко всей грамматике мироздания?"/ Петр Флорский. "Первый день творения в мифологии, философии и религии"/.

"Поскольку суть Личности - саморазличение, то первым же своим актом она отделяет себя от себя. Это отделенное "себя" есть мир, а "я", отделившее себя, есть Личность. Мир есть все, отличное от Личности, все, что не есть она. Поэтому Перволичность всегда воспринимается как Кто-то за пределами мира, и это запредельность образует главное ее свойство для тех, кто в мире. По мере умножения и развития всяческих различий сама Личность все более удаляется от нас в какую-то неизвестность и запредельность, вызывая рост неверия и безнадежности; а мир, оставленный ею, разбухает и множится в своих бессчисленных разделениях, приобретая все большую власть над своими обитателями, заслоняя их своей растущей массой и сложностью от бытия самой Перволичности. Но запредельность Личности не есть ее слабость, мнимость, чуждость, неодстаточность - напротив, в этом сказывается ее подлинное, непрерывно возрастающее присутствие с нами в качестве Личности, а не "единого", или "всего", или "идеи". Ведь сама отличенность мира от Личности есть проявление собственного ее свойства - все отличать от себя и быть отличной от всего. Она присутствует во всех различиях, которыми умножается сложность этого мира, и чем дальше эта Личность от нас, тем она ближе к нам; по ступеням всех разделений она сама движется нам навстречу...

Личность именно в том, что отличает меня от нее, в том, что ставит между нами бесконечный ряд пространств и времен. Ведь само время есть жизнь Личности в ее отличии от себя, а пространство - в ее отличии от другого. Поэтому Личность всегда далека, дальше самого дальнего, дальше всех галактик и миллиардов световых лет - но это и есть ее воля - пребывать с нами, делая нас свободными. Вещество, растение, животное, человек - это стадии отличения Личности от себя и ее растущего обоснования в себе. Человек дальше от Личности, чем растение - и одновременно ближе ей, ибо он есть личность в себе. Поскольку я бесконечно отличаюсь от Личности, я дальше отстою от нее, чем любое другое существо в мире; Она скрывается от меня за непроницаемой толщью, как самое Другое, Иное, Непостижимое. Но в самой этой инакости Она пребывает во мне и полнее и глубже, чем если бы находилась в нескольких шагах от меня. "Расстояние между тобой и мной - это и есть ты", - как сказал, обращаясь к Ней, один из учеников Я.А., поэт И.Ж. Она отдаляется от

меня с тою же скоростью, с какой настигает. Отсюда - неизбывная тоска, которую испытывает человек в одиноких временах и пространствах мира, и крепнущее ожидание, которое обращено к незибежности предстоящей встречи. Мы удаляемся от Личности как предшествующей различиям и приближаемся к Личности как проявляющейся в различиях. Поэтому будт возрастать атеизм, как ощущение этой удаленности и Богооставленности - и одновременно будет возрастать новый теизм грядущего Богоявления, второй Встречи.

"При конце этого мира, - писал Ориген, - будет великое разнообразие и различие, и это разнообразие, полагаемое нами в конце этого мира, послужит причиною и поводом новых различий в другом мире, имеющем быть после этого мира" /"О началах"/. Чем больше различий в мире, тем полнее является в нем образ самой Личности, сотворившей мира в его отличии от себя. Мир, порожденный Отличием, в конечном счете и завершится им.

Но это уже будет такое отличие, которое включает в себя не только разницу, но и высшую степень качества - соответственно двум своим значениям в самом языке. "Отличное" - не только то, что несходно с другим, но и то, что превосходит все другое. "Хорошее" и "плохое" в равной степени отличаются друг от друга, но само это различие между ними является добрым признаком, оно прибавляется к этому хорошему и содействует его преобладанию над плохим. Как подмечено К.С. Льюисом, "созревая, каждое благо все сильнее отличается не только от зла, но и от другого блага". /"Расторжение брака"/. Это означает, что благом является и само по себе различие, коль скоро оно способствует созреванию других благ; а отсюда следует, что по мере различения благ и зол Блга становится больше, чем Зла. На стороне Блага - непобедимый воин, имя которому Отличие. "Живые существа тем больше разнятся, чем они совершенней" /там же/. Различие - признак возрастающего совершенства. Вот это взаимосвязь двух признаков и запечатлелась в слове "отличие", которое означает и "разницу", и "заслугу" - ибо разница и есть заслуга. Сама непохожесть одной вещи на другую выступает как превосходное качество вещей.

...Так мыслится нами кончина мира: всякое "непохожее" перейдет в "превосходное", каждое свойство и явление, отличаясь от другого свойства и явления, станут отличными сами по себе, достигнут высшей степени качества благодаря возрастающей определенности. Отличное "от" станет отличным само по себе, поскольку не будет "другого", от чего производится отличие; но этим другим станет каждая вещь для себя, ибо достигнет наибольшего качества и превосходства в своем роде. Отличность станет состоянием мира. Каждая вещь, отличаясь от подобных себе, в конечном счете станет всем в себе и для себя. Тогда мир начнет исчезать - мир как некая всеобщность, однородность пространства и времени, протяженность субстанций и атрибутов. Все, что не содержит отличий, исчезнет само собой. Количества истают в качества. Мир как совокупность внешних условий, одинаковых для всех, упразднится, - останется Личность и все созданные ею отличия. "Отличность" - снятость всех различий

внутри вещи, которая станет самой - не самой большой, или самой красивой, а самой такой, какова она есть, т.е. самой собой, Превосходством как суммой всех своих несходств. При этом она может не утратить и не прибавить ни грана вещества, но засияет, как кристалл, все грани которого отполированы тончайшим резцом Различия и потому лучатся в свете Смысла. Вещь станет Словом, поскольку оно состоит из одних различий.

Итак, различия уводят от Личности, но они же и приводят к Ней. Личность явится миру из самого мира, из полноты его различий, и первое станет последним, альфа поменяется местами с омегой, и то, что предшествовало всему, будет следовать из всего, вытекать из каждой капли, вырастать из каждого ростка. На распутьях всех дорог, в разветвлениях всех деревьев, в размышлениях всех людей забрезжит свет Различия, солнце Личности. Мир родит того, Кто сотворил мир, и Бог-Отец явится из недр его как Бог-Дитя. Кто отличит последнюю вещь в мире от предпоследней, кто последнего человека научит отличать себя от себя, - тот и явит Личность как Завершение. Мир вокруг такой Сверхличности светится ярче и виднеется глубже во всех тончайших прожилках своих, точно вещество обрело упругость сердца, сложность мозга, выразительность глаза - олицетворилось до последних своих оснований, вместило Перволичность не только как начало, но и предел всех различений. /Илья Миркин. "Сумма различий", гл. 7, "Лист на свету"/.

ТЭИЗМ. Философия частотного словаря

Один из учеников, Андрей Пушников, заметил, что в русском языке счастливо срослись в одном корне слова "личность" и "различие", что позволяет убедительно соотнести эти понятия, как одушевленную и неодушевленную ипостаси - "кто" и "что" - самого Первоначала. Значит ли это, что другим языкам повезло меньше и они не могут выразить во всей чистоте истину о различении как исконном свойстве Личности? Например, "person" и "difference" /англ./ - слова, глухие друг к другу. В ответ Я.А. развернул свое учение о мудрости языка, который глубже, чем любая философская система, укзаывает на основное и изначальное в бытит /излагается по книге Андрея Пушникова "В поисках Первослова" и книге Александра Франка "Theism и The-ism"/.

"О мире мыслят не только философы, но и самые обыкновенные люди. Они не доискиваются первоначала, а просто и здраво рассуждают о множестве конкретных вещей, употребляя необходимые им слова. Но благодаря этому обыкновенный язык и приобретает необходимые им слова. Но благодаря этому обыденный язык и приобретает колоссальную ценность для философа. Ведь в общем объеме словоупотреблений, отнесенных всякий раз к конкретной вещи и конкретной цели, неминуемо должно выразить себя и первоначало,

насколько оно вообще выразимо в слове. Философия не притязает на то, чтобы сказать нечто большее, чтм можно сказать в словах. Поэтому и философам стоит прислушаться к тому, какие слова употребляются чаще других, поскольку без них не может обойтись сам язык. Первоначало потому и первоначало, что проявляется в наибольшем количестве разнородных явлений как их необходимое свойство - и даже когда совсем не думаешь о нем, оно все равно получает выражение в языке. Оно потому и необходимо, что его нельзя обойти - о чем бы ты ни думал, о чем бы ни говорил, оно все равно обнаруживает себя, причем с тем большей объективностью и неизбежностью, чем меньше ты имеешь его в виду.

Если специально размышлять о первоначале, как делают фиософы, легко впасть в ошибку и произвол, выбрать то или другое, а поскольку все со всем взаимосвязано, то начав с одного, легко прийти к другому - но это ровным счетом ничего не доказывает, кроме гибкости ума. Иное дело - совокупный результат мысли миллионов людей, думавших всвсе не о первоначале, а о туфлях, зонтиках, погоде, соседях, книгах, политических событиях и т.д. То, как этот результат отражается в словаре, какие из элементов языка оказываются наиболее насущными в разговорах и суждениях обо всем на свете, - вот что свидетельствует о реальной значимости того или иного начала в мировом устройстве. Язык - неподкупный судья, который единственный вправе рассудить споры между философами. Ведь мир - это миллионы людей, по-разному мыслящих о мире, и что стоит на первом месте в их языке - то в первую очередь определяет их существование.

Частотные словари самых распространенных мировых языков имеют много общего между собой, по крайней мере в первых рядах наиболее употребительных слов. Они-то и заключают в себе то основное, что выделено в мироздании не тем или иным мыслителем, а совокупной мыслительной работой всех говорящих на этих языках. Один философ считает важнейшим и первоначальным понятие духа, другой - ценности, третиий - существования, четвертый - материи, пятый - мышления... А что думает об этом сам словарь - бескорыстнейший из свидетелей, глядящий на мир миллионами глаз?

...В самых употребительных словах выражены самые устойчивые, изначальные свойства бытия - те, глубже которых не может пойти язык. Ведь мышление не может пойти дальше языка, в границах которого себя выражает. Ни один философ, пишущий на том или ином языке, не должен воображать, что он мудрее самого языка, - и если его философия хочет выразить себя, она должна принять за основу то, что считает основным сам язык. На самом деле получается иначе: философы искажают картину мира, данную в языке, всячески растягивая и деформируя ее в разных направлениях, преувеличивая значение одних понятий, преуменьшая значения других, - но язык выносит это насилие, следы которого остаются мелкими рубцами в его тысячелетней истории. Вот свежий шрам, именуемый "материализм", с его "производственными отношениями", "формациями", "базисами", "надстройками"... Но уже затягивается и это влажная ранка.

С точки зрения языка, "материя" и "сознание", "природа" или "идея", которые многими философами клались в основу всего сущего, - это понятия второстепенные, специальные, возникающие лишь в процессе дробления и уточнения каких-то более глубоких и всеобъемлющих свойств мироздания. Без соответствующих слов язык довольно легко может обойтись - и обходится в подавляющем большинстве случаев. Слово "материя" делит места с 2172 по 2202 по частоте употребления в русском языке, наряду со словами "самовар", "конференция", "партизан" и др. Таким образом, по свидетельству языка понятие "материи" примерно столь же важно для объяснения мироустройства, как понятия "самовара" или "партизана" - вывод, неутешительный для материалистов, которые ставятся тем самым в ряд малых фетишистских групп, наподобие поклонников самоварного чаепития. Даже если сложить вместе частоты таких однокоренных слов, как "материя", "материальный", "материализм", "материалистический", данная металексема получит ранг примерно 370, где-то среди слов "база", "палец", "станция", "офицер" - почтенных, но никак не претендующих на метафизическую важность. К огорчению спиритуалистов, металексема "дух - духовный" отмечена, по крайней мере в словаре русского языка советской эпохи, примерно таким же или даже чуть более низким рангом; правда, совместно с металексемой "душа - душевный" она передвигается примерно на 163 место, в ряд таких слов, как "между", "входить", "ничто", "второй", "понять", "всегда", гораздо более существенных для постижения основ бытия.

Еще одно важнейшее понятие, положенное в основу многих философских систем - это "бытие" или "существование". Онтология как учение о бытии является центральным разделом таких значительных философий, как гегелевская и хайдеггеровская. Но язык часто обходится без утверждений о бытии или небытии того или иного предмета, обсуждает его конкретные свойства, не прибегая к "экзистенциальным" суждениям. "Быть" - важное, но не основное слово: в русском языке оно занимает по частоте 6 место, в английском - четвертое, во французском - четвертое. Другие категории, например, "разум" и "познание" /у рационалистов/, "чувство" и "ощущение"/у сенсуалистов/, "польза" и "деятельность" /у прагматиков и бихевиористов/, "воля" /у Шопенгауэра/, "жизнь" /у Ницше/, также отвергается языком, всей суммой его употребления, в качестве основополагающих. (9) Более существенны понятия "я" и "ты", выдвинутые М. Бубером, - они принадлежат к самым употребительным в любом языке, и никакое объяснение мира не может без них обойтись. Бубер назвал местименную пару "я - ты" "основным словом", определяющим диалогическое отношение как центральное в мироздании; но если судить по словарю, отводящему этой мелаксеме 3-е место в русском и английском языках, он все-таки ошибся, хотя и ненамного.

Мы видим, как язык отбрасывает важнейшие философские понятия на перифирию сознания; они мало насущны для того мыслительного процесса, который ведет о мире сам язык, во всей бессчисленной совокупности своих речений. Философия пытается бороться с языком, переворачивая его естественные пропорции, ставя в центр своей

речевой подсистемы какой-то периферийный элемент, малоупотребительное, а то и вовсе несуществующее, вымышленное словечко, вроде гегелевского "снятия" или хайдеггеровского "временения". И конечно, эта борьба идет на пользу языку, укрепляет его мускулы, расширяет возможности, обогащает систему значений и ассоциативных связей. Так, значение слова "вещь" в немецком, да пожалуй, и в русском языках углублено его принципиальным употреблением и разработкой в системе Канта, точно так же, как слова "противоречие" и "жизнь" имеют более наполненный смысл, отдаются гулким эхом в современной культуре, благодаря трудам Гегеля и Ницше. И все же, как ни пытается та или иная система утвердить свой порядок и иерархию смыслов, победителем в этой борьбе выходит естественный язык, сохраняющий в сознании /или бессознательном/своего народа незыблемыми ценностные приоритеты, дорисовывающий, но не перечеркивающий на протяжении столетий одну и ту же целостную картину мироздания.

И полезно было бы для философии хотя бы раз исходить в своих построениях из воли самого языка, а не одного из его носителей. Ведь не только на языке отражается эта диспропорция, но главным образом - не самом отношении к жизни, в котором начинают преобладать насильственные, разрушительные начала. Поставьте "материю" или "волю" на первое место - увидите, что получится; собственно, все человечество уже увидело и убедилось. Сомыслие языку оздоровляет мысль и оберегает мир от ее произвола. Быть может, язык как целое - это и есть мера, задающая правильное, соразмерное понимание действительности. Но это понимание пребывает, так сказать, в бессознательном разуме целого народа или человечества, а донести его до сознания отдельной личности - это и есть дело философии, которая объясняет и толкует то, что говорит сам язык, как главный "отправитель" всех сообщений.

Что же есть первоначало мира? - не по мнению мыслителя, а по мнению языка, которое может мыслителем разъясняться и обосновываться, но не оспариваться: приговор вынесен до нашего рождения. Каким смертным унынием повеяло бы от этого приговора, если бы он выразился существительным, прилагательным, глаголом, - одним из тех знаменательных слов, которыми философы знаменуют торжество своей системы над действительностью. "Разум" - а я схожу с ума от любви. "Дух" - а я копаюсь в песке или трогаю листья деревьев. "Материя" - а я, кроме как в шелке или ситце, никогда ее не трогал. "Быть" - а меня еще и нет, я только возможен. "Знать" - а я и не знаю, что я знаю...

О, сколь щедрее, чем любая из этих подсистем мысли, система самого языка, ставящая во главу угла тишайшие, смиренные, служебные слова - освобождающие нас предлоги, союзы, частицы. Никаких субстанций, атрибутов, предикатов, задающих нам - благодаря лексической конкретности - жестко обусловленную систему поведения. Вспомним: "саморазвитие абсолютной идеи", "исторический материализм", "мир как воля и представление", "сублимация либидо", "стимул и реакция" - каждое слово звучит как

приказ, как приговор к определенному виду каторжных работ или тюремного заключения. Разница только в том, через какую решетку ты увидишь мир: пойдут ли прутья диалектическими треугольничками, или материалистическими квадратиками, или психоаналитическими елочками...

Сумрачные, тяжелые слова, чья лексическая конкретность, возведенная в ранг философской всеобщности, мучит и терзает все живое, намертво приколачивая Целое к одной из его частей. На фоне этих железных клеток - как легко парят, обдавая навнятным, но чистым птичьим щебетом и ветерком, самые первые слвоа из частотного списка: "в", "и", "не", "на", "я"... Слова, чей смысл ни к чему не привязывает, никуда не теснит, проходя через мысль как трепет самых первых, самых робких и чистых прикосновений к действительности. О, язык - великий мыслитель! Он ни на чем не настаивает и только сеет смыслы в поле возможностей. Какими размышлениями и поступками прорастут они, это уже определит сам говорящий, а язык только предлагает ему: говори, размещай свою мысль *в* чем хочешь, соединяй ее *с* чем хочешь, основывай *на* чем хочешь.

Язык начинает с того, что дает вздохнуть, выбрать самому, *в чем и с кем я буду или не буду*, - все эти первослова необходимы лишь постольку, поскольку предполагают свободный выбор и сочетания любых других слов. Их служебность - смиренность, готовность нам услужить. Вот без каких слов не могут обойтись люди в каждодневном своем общении, в тысячах мыслей и высказываний о том и другом - вот без каких начал не мог бы начаться сам мир: если б не было "в", не было "и", не было самого "не". Ведь все пребывает только в чем-то другом, и через "и" сочетается с этим другим, а через "не" отрицается этим другим, а через "на" - основывается на нем... Что именно в чем находится, что с чем сочетается и что чем отрицается - это уже предоставлено выводить говорящим, а язык, как изначальный дар свободы, лишь приводит нам в услужение эти кратчайшие и кротчайшие словечки.

Предлоги, союзы, частицы... И во главе их - по благодати, которой удостоены не все языки - самые служебные из всех: артикли. Определенный артикль - наиболее употребительное слово в тех языках, где он имеется, а на этих языках создана едва ли не самая богатая и разнообразная словесность в мире: иврит, греческий, арабский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, все скандинавские...Если когда-нибудь сверхмашина создаст всемирный частотный словарь, нет сомнения, что первое место в нем займет определенный артикль. Так, в английском языке из пяти миллионов словоупотреблений "тче" используется 373123 раза, а следующее за ним по частоте "ор" только 146001 раз. Каждое 13-14-ое слово в английском тексте - это определенный артикль. И даже в тех языках, где он отсутствует, его различительную функцию отчасти берут на себя местоимения и частицы, прежде всего указательные, от которых он исторически образовался, - "этот", "тот", "такой", "вот", "вон", а также определительные, ограничительные - "самый",

"который", "только", "лишь", "же" и др. - их суммарная частота, например, в русском языке, приближает этот "собирательный" или "несобранный" артикль к рангу второго слова./.../

Определенный артикль, THE, и есть искомое слово слов, выдвинутое самим языком на первое место среди бессчисленных актов говорения о мире. Мир должен быть понят прежде всего через артикль - всесторонне артикулирован. Не онтология и гносеология - учение о бытии и познании, но "артикулогия", учение о выделенном, определенном - вот центральный раздел философии. Первоначало мира возвещено самим языком - мудрейшим из мудрецов. Определенный артикль означает любую вещь как эту, отличную от всех других вещей в мире, и это свойство "Этости" является начальным и всеопределяющим, как доказывает многообразная практика языка. В какие бы предметные сферы ни заходил язык, какими бы профанами или специалистами, праведниками или подлецами они ни использовался, без артикля как определяющего и различающего элемента не обойтись в большинстве высказываний.

Существительные могут иметь абстрактные или конкреные значения - "бытие" и "стол", "сознание" и "лента", причем философия пользуется преимущественно первыми, а разговорный язык - вторыми, взаимно отторгая, гнушаясь друг другом. Но если обобщение хочет войти в плоть мира о облечься в его многообразие; если обыденность хочет получить философское измерение, а философия стать делом жизни - они должны учиться у артикля как первослова. Это наиболее абстрактный элемент языка, придающий смысловую конкретность другим элементам, это конкретизирующая абстракция, то "свое" для каждого, что является "общим" для всех. Артикль движется в мире значений, артикуляция мысли, то артикль - средство артикуляции самого языка, слово-магнит, вытягивающее слово из других слов. Без артикля существительные молчат, с артиклем они начинают говорить./.../

"Материя" означает только материю - и ничего больше: не "стол", не "ленту", не "иглу", хотя все эти предметы материальны. Когда такое абстрактное существительное натягивает на себя одеяло других слов - рвется естественная ткань языка. Почему одно понятие, равноправное среди других и неспособное их заменять, должно выводить их из себя? Артикль обладает уникальной способностью: он сочетается со всеми существительными, не замечая их конкретные значения на свое абстрактное, а придавая им еще большую конкретность. Из всех столов выделяется именно этот - стол в мире столов. Лента в мире лент - та, которую ты мне вчера показала, которую ты сейчас заплетаешь. Как артикль есть слово слов, так и любое явление, им обозначаемое, еще полнее являет себя, становится явлением из явлений. Артикль - изначальное слово, вещающее из глубины других слов, ближайшее подобие самого Логоса.

Главное в мироздании, как свидетельствует язык, - это его делимость на множество определенностей, для обозначения которых и существуют слова. Для мышления о мире эта выделенность каждого

предмета /свойства и т.д./ имеет несравненно большее значение, чем вопрос о его бытии и небытии, познаваемости или непознаваемости. Ведь и бытие, как и небытие, познаваемость, как и непознаваемость, являются формами определенности, получая свой предел от Того, Кто разделяет их, великого ТЕОС, от которого получают свои маленькие тче прочие понятия и слова. *Ничто не может быть, не будучи чем-то* - тем, а не этим, этим, а не другим. Это "что-то", выделимость и определенность которого указывается артиклем, и есть основное в мироздании. Сама же Основа - Этот, а не другой, или, как стоит в английском переводе Библии, The Lord. "Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим". То общее, что присуще *этому* Кто и *этому* Что, можно обозначить как Это - "The", привходящее в существо всего сущего, как его *свободное* самоопределение и *необходимая* определенность". /Андрей Пушников, "В поисках первослова"/.

"Данное мировоззрение можно назвать "the-ism" или "тэизмом", вкладывая сюда двойной смысл - и тот, что закреплен за каноническим понятием "theism", "теизм" как верой в Бога-Личность, и тот, что привносится неканоническим понятием "the" как определительным принципом мироздания. Самое распространенное слово в самом распространенном из всемирно-международных языков вполне заслуживает философского признания. Необычный дефис в слове или замена "е" на "э" служит лишь указанием на этот второй смысл, сочетающий в едином понятии греческое Theos и английское The. "The-ism" содержит в себе чудесную философскую идею - о том, что вера в личного Бога, "theism", есть одновременно учение о всеобщей определенности всех вещей, заимствующее свое название от определенного артикля - "the-ism". Бог-Личность обнаруживается в каждом явлении как его собственная различенность, древнейшее Теос как современное the /без всякой историко-этимологической связи, как сущностное единство, выраженное и в русских словах "*лич*ность" - "раз*лич*ие"/...

По-видимому, ***тэизм*** - самое универсальное учение из всех возможных, поскольку в качестве мирового основания оно устанавливает понятие выделенности, "этости", выраженное артиклем "тче" и придающее определенность всем другим понятиям. Определенность - фундаментальное свойство всего, что мыслится: как существующего, что оно существует, так и несуществующего, что оно не существует; как познаваемого, так и непознаваемого, как творящего, так и сотворенного - в их раздельности: свойство, на которое указывает не какой-то мыслитель, а сам язык во всей совокупности своих высказываний о мире.

Другие понятия, которыми оперируют философия, логика, этика: "идея" и "материя", "истина" и "ложь", "добро" и "зло" - оказываются иерархически наивысшими лишь для замкнутых, профессиональных языков, но не для языка в его целостности, отражающей порядок самого мироздания. Они выступают лишь как общее по отношению ко многим особостям и могут сводить их к себе, но не выводить их из себя. "Стену" и "крышу" можно свести к понятию материи, но различие между ними из материи невыводимо, напротив, стирается в этом

обезличивающем "первоначале". Если в подобных абстрактных сущностях усмотреть основы для остальных, это приведет к деформации языка, мышления и самого мироздания, все многообразие которого будет пригнано к немногим понятиям, место которых - в *составе* этого многообразия, а не в его *основе*. Хорошо, что есть *еще и* материя, как определенный слой бытия, несводимый к материальным предметам в их конкретности, но отличимый от них благодаря своей абстрактности. Все абстракции хороши как "еще и ", отличные от конкретностей, но не навязывающие им себя в качестве объяснительных и зиждительных начал. Мир, сведенный к материи /или идее/, станет беднее самого себя во столько же раз, сколько существует всяких материальностей /или идеальностей/, несводимых друг к другу и невыводимых из своей общей материальной /или идеальной/ основы.

Вот почему в самой основе должно лежать обособление и разделение - или *Первоиное*, благодаря которому инаковость воспроизводится во множестве взаимно несводимых явлений. Артикль, отличая не только стену от крыши /неопределенный артикль/, но и эту стену от других стен/определенный артикль/, является общим элементов для множества слов, обозначающих конкретные предметы - но общность его такова, что не отнимает, а подчеркивает и усиливает эту единичность. Если исходит не из искусственно конструируемых логических языков, но из живого многообразия естественного языка, отражающего в органической соразмерности все аспекты действительности, то самым общим оказывается понятие единичности, "не такого, как другие". Необщее - это и есть самое общее. Язык сам выговаривает истину, которую скрывают или искажают философы, говорящие лишь от имени какой-то специальной и односторонней подсистемы языка.

Язык действует вопреки правилам умственной экономии, рассчитанной на бедных и деловых людей, - не отрезает, а умножает сущности, для каждой из которых находит свое слово и свой способ словоупотребления. Разве "стена" и даже эта стена - тче шалл - менее глубокое философское понятие, чем "материя" или "базис"? В стене столько сокровенного, непреодолимого, и даже еслти это только одна, знакомая мне стена, ее свойства можно обнаружить во множестве разлук, уверток и опасений, столь мне свойственных. В этой стене можно найти основу для многих умозрений и умозаключений, постепенно выводящих из нее разнообразие мира: "пятно", "узор", "обои", "изоляция", "вертикаль", "протяженность" и т.д. Кажется, что мир не столько материален, сколько "стенен", потому что всюду и всегда, и в самых нематериальных вещах, я натыкаюсь на стены, начиная с выхода из своего "я" и преодоления застенчивости и кончая тем последним застенком, который отделяет живых от мертвых/кто из них заточен - еще вопрос/. Стена - основное свойство мира. Но точно также он может быть "крышен", "яблочен" / сочен, кожурчат, зернист/ и т.д. Каждое слово заключает в себе целый философский проект: из его значения выводится целая система миров. И чем оно обыденное для языка, тем удивительнее и богаче для мышления.

И какой силы достигло бы мышление, если бы действовало заодно с языком, используя все слова и различия между ними для построения возможных миров! Задача мышления - не объяснять мир и не и не изменять его, а *создавать иные миры*, вводя их в соприкосновение с нашим. Мир можно воистину преобразить, а не разрушить, лишь раскрывая в нем взаимосвязь и точку соприкосновения множества миров, не обязательно потусторонних, но лучше сказать - *странных*, неподвластных законам этого мира. Для выполнения этой задачи нужен весь язык, а не заученный набор десяти-двадцати терминов, приводящих мир в состояние бедности и однообразия. Для того, чтобы "изменить" мир, достаточно выхватить в нем одно начало и привести к такому усилению, чтобы оно вытеснило и уничтожило все остальные. Парадигма "изменения", открытая Марксом, по сути ничем не отличается от парадигмы "объяснения" предшествующих мыслителей, только переводит ее из созерцательного плана в захватнический. В одном случае то первоначало, которое "объясняет" все остальные, оказывается запредельным, владеющим, в другом - оно само поддается овладению как орудие "изменения". Но в любом случае оно собстантивно и субстанционально, - не умножает, а уменьшает число сущностей, сводя их "объяснительно" - к "идее" или "изменительно" - к "материи". Суть же именно в том, чтобы умножать сущности, и лишь та из них, которая способствует умножению остальных, а не растворению и "снятию" их в себе, является собственно изначальной /не назначена таковой, а подлинно перворордна/. Эта сущность, *выводя* из себя остальные, не *сводит* их к себе. В этом и заключается трудность ее нахождения: мир *не сводится к тому, из чего выводится*, он делается разнообразнее благодаря первопричине, но при этом не отождествляется с ней, а все больше отличается от нее. Нужно изначальное бескорыстие: такая воля, которая отпускала бы на волю, такая сила, которая не господствует, а освобождает.

Именно из понятия определенности выводится и невозможность свести все понятия к одному из них. Ведь будучи определенными, они несводимы ни к какому другому отдельному понятию, даже к самой "определенности", потому что ведь и она выступает как нечто определенное, выраженное отдельным словом среди других слов. Суть и величие определенности в том, что она сама себе кладет предел: все, что из нее выведено, обратно к ней уже несводимо. Она открыта для выхода и закрыта для обратного входа, как сердце с клапанами, работающее в сердцевине мира. Кровь не возвращается в те отделы, из которых вытекла, иначе мир болен. Сводимость к основанию - это философский порок сердца.

Из ТНЕ могут быть выведены все другие начала и отношения - но так, что они оказываются вместе с тем и несводимы к тому, из чего выводятся. Именно выведение из определенности ставит предел для сведения. Поистине определенные понятия не могут быть сведены к понятию самой определенности. "Это яблоко", "этот дом", "эта река" есть нечто большее, чем просто "Это", хотя из Этого и вытекает, что яблоко, и дом, и река должны быть этими, а не другими. Так в тэизме решается труднейшая философская проблема: вывести все мировое разнообразие из одного основания так, чтобы одновременно была

невозможна обратная операция - сведение всего разнообразия к чему-то одному. Если сведение возможно, то само выведение теряет смысл: многообразие оказывается содержательно пустым, бескачественным, всего лишь иллюзорной игрой разных разностей, в которые облекает себя единое. Материализм в этом смысле недалеко отстоит от буддизма, поскольку все многообразие формы бытия оказываются видоизменениями лишь самой материи, ее карасочной и призрачной Майей /см. Тимур Федоров, "Буддомарксизм"/. Напротив, выводя мироздание из источника "THE", мы получаем то множество разделенных между собой и определенных внутри себя сущностей, по отношению к которым "the" выступает уже не только как первая, но и как "одна из" - не только как первослово, придающее определенность другим словам, но и как слово между слов. Иначе говоря, в самом понятии the заключено движение понятий, выводящих за его собственный предел. "The" содержит в себе Прибыток, как изначальную сущность самого Бытия. Оно бытие постольку, поскольку прибывает. И этот прибыток никак не втесним в свое первобытие./.../

В русском языке это определительное, артикулирующее начало, вследствие отстутствия артиклей, выражено не столь резко, как в европейских /романских и германских/. На первое место выдвигается другое фундаментальное свойство - "вмещенность". Оно выражено предлогом "в", опережающем все другие слова в частотном списке /43 тысячи на миллион словоупотреблений, каждое 23-е слово в тексте/. Все, что ни есть, вмещено во что-то. Ничто не может быть, не будучи в чем-то. "В"-структура определяет пребывание всякой вещи внутри другой: даже самое малое что-то вмещает, даже самое великое чем-то объемлется. Дом - в городе, город - в стране, страна - в мире, мир - в сознании, сознание - в теле, тело - в доме... Все вмещено, ничто не может выйти из окружения.
Русский язык берет мир в кольцо, в блокаду, представляя его как систему оболочек, в которой все является облеченным и облекающим. "Все во всем" - этот древний закон, выведенный Анаксагором, в русском языке выступает как синтаксическая привычка. Главное - не "это", а "в", через структуру которого любая вещь предстает окруженной и окружающей, притом, что эти круги входят друг в друга, наподобие звеньев одной цепи: окружающее само окружается тем, что оно окружает. Вселенная существует во времени, а время - во вселенной. Мы застаем свое "я" - в мире, а мир - в себе /своем восприятии и осознании/. Вот и вся проблема "материального" и "идеального", соотношения приобретенных ощущений и врожденных идей: одно заключено в другом, как звено в звене.

Русский язык рассеян в отношении определенности вещей и сосредоточен на их окруженности, пребывания внутри чего-то. Вещь определяется не сама по себе, в отличие от другой вещи, но через то большее, внутри чего она пребывает. Вмещенность не предполагает разграничения, а напротив, снятие ограничений, включение их в объемлющее бытие и сознание. Вещь заведомо дана не сама по себе, в "этости", а внутри чего-то другого, как его включенное звено, через которое вытягивается вся цепь. Таково это мирообразующее в России свойство свернутости и заключенности. Вот почеми так трудна и так

необходима в России не только теория, но и практика Всеразличия - действенный тэизм, идущий от веры в Личность к удостоверяющим ее различиям"/Александр Франк. "Theism" и "The-ism"/.

Таково в самом общем виде учение Я.А. о перворазличии, о Перволичности, о первослова.

---

9. Металексема "делать - дело - действовать - деятельность" - 35-ое место, "жить - жизнь" - 45-ое, "воля" - 65-ое.
Все эти данные приводятся А.Пушниковым по "Частотному словарю русского языка", под ред, Л.Н. Засориной, М., 1977.

УЧЕНИЕ ЯКОВА АБРАМОВА

Часть 2. Термины и словечки

Если Артикль был для Я.А. первословом его системы, то и от остальных слов он желал такой же кропотливой работы над понятиями, различения всего от всего. В идеале каждое слово должно было стать термином, межевым знаком на границе понятий, в том почти религиозном смысле, какой придавали Термину древние римляне, чтившие в нем бога междй и границ. Ежегодные праздники Терминалии устраивались 23 февраля и требовали возлияния меда и молока у межевого камня или в межевую яму. Некоторые ученики Я.А. также собирались в этот день для "застольных Терминалий", чтобы превратить общепринятый, но краткосрочный праздник военного противостояния в тысячелетний, но позабытый праздник мирных границ и полевых межей. "Войско слов, вооруженных терпением и стоящих на охране границ между полями понятий и государствами мыслей... Армия умножения различий", - так характеризуется терминология в кратком руководстве по проведению Терминалий. - То, что теперь называют "терминологией" - это, в сущности, совокупность обрядов и жертв, приносимых Термину.

Я.А. также приносил обильные жертвы этому богу непрестанным изобретениям все новых терминов, частью шутливых и пародийных, которыми уснащалась его речь. Пожалуй, не было ни одного слова, самого житейского и заурядного, которое не могло бы получить от Я.А. строгого понятийного смысла. Здесь мы остановимся на немногих, наиболее общих терминах Всеразличия, указывающих на само это отличительное свойство всего: различать или не различать.

РАЗЛИЧИЕ И ПРОТИВОРЕЧИЕ

Прежде всего, о самом "всеразличии". Я.А. сознательно соотносил его с неопратоническим термином "всеединство", получившим широкое применение в восточной патристике и в русской философии. Я.А. считал "всеединство", идею Единого как изначального - первородным грехом философксой мысли, поддавшейся искусу тоталитарности.

"Да, всеединство - благодатная возможность человеческого устроения, но прийти к ней можно, лишь исходя из всеразличия. Единым все станет не раньше, чем полностью раделится, и даже атом явит ия себя индивида" /Петр Флорский. "От всеединства к всеразличию. Эволюция пансофских идей"/.

"Всеединство без всеразличия - это монизм насилия и порабощения, а в политическом смысле - казарменный коммунизм" /Григорий Крохин. "Реакционная революция"/.

"В русской философской мысли всегда господствовала идея всеединства. Менялись моды, основой всеединства мыслилось идеальное либо материальное мироздание, но единство оставалось всеопределяющей идеей. Не пора ли объединиться на идее *всеразличия*? Мы едины в том, что различает нас, чем каждый отличается от другого. Если искать первоначала, объединяющего мироздание, то именно всеразличие окажется таковым. И различие материального и идеального окажется одной из форм проявления этого всеразличия" /Иван Соловьев. "Вечная философия"/.

Одним из главных следствий Всеразличия должно было стать низвержение идола, который долгое время господствовал в теории познания и диалектике под именем Противоречия. Я.А., как передают ученики, не любил самих слов "противоположный", "противопоставление", и если изредка пользовался ими, то всякий раз с явным принуждением - так старательно и напряженно выговаривал их, точно боялся забыть очередной слог. Для него это были иностранные слова, уродующие родной язык мысли.

"Если бы мышлению действительно были необходимы эти понятия, оно выразило бы их легко и свободно, как "истину", "добро", "красоту"... Нет, эти понятия навязаны мышлению профессиональным кретинизмом философов и политическим своекорыстием идеологов, потому и понадобились эти раковые опухоли на теле языка - 18-буквенные чудовища. Языкоедство предшествовало людоедству, и с того момента, как термины типа "противоположение" вошли в моду, можно было предвидеть все остальное. Где вы видели, чтобы вещи *противопоставлялись* или *противополагались* друг другу, кроме как в извращенном воображении насильников и властолюбцев? Можно ли противопоставить стулу стол или зеркалу шкаф? Что это означает в действительности? Можно поставить их друг против друга, но при этом между ними не возникнет никакого противопоставления или противоречия. Эти понятия лишены пластичности, и если начать мыслить ими, чтобы затем их воплотить - придется извратить весь порядок вещей, произвести насилие, противное их природе. Вещи нельзя простивопоставлять, можно только поставить их рядом - ближе

или дальше друг к другу. Противопоставлять можно только признаки, отвлеченные от вещей: черное и белое, высокое и низкое, холодное и горячее. Но то "горячего" и "холодного" никому не холодно, ни горячо, потому что таких вещей не существует в природе. Вещь всегда обладает множеством признаков и потому никогда не противоположна другой вещи, а только отличается от нее. Между высоким и низким - противоположность, но между высоким и низким домом или высоким и низким человеком - уже не противоположность, а только различие, т.е. бесконечная совокупность признаков, частью сходных, частью несходных. И вот вместо богатства различий мы в нашей излюбленной диалектике получаем нищету противоположностей. Вся ткань бытия изъедена молью противоречий. Эту грубую, продольно-поперечную холстину, обнажившуюся из-под бархатного узора, мы и называем сермяжно-дерюжной правдой истории" /Николай Розанов, "Против противоречия"/.

"... Противоречие - самое изощренное орудие, которым дьявол вносит раскол и гибель в Божий мир. Противоположностей не существует в природе, это лишь абстрагирующая и беспощадная к действительности деятельность рассудка, свихнувшегося на "познании добра и зла" в их противопоставлении. /.../ Лишь по одному признаку, вычленяемому из совокупности, вещи могут быть противопоставлены; но нет вещей, состоящих из одного признака; и поэтому каждая, в своей целостности, в сочетании многих признаков, лишь отличается от другой. На вопрос, что такое противоположность, Я.А. ответил однажды: то же самое, что тождество. В самом деле, противоположность - это застывшее состояние тождества вещи самой себе. Если холодное есть только холодное, оно противоположно горячему. Если А тождественно А, то оно противоположно не-А. Но так же, как не существует двух тождественных вещей, так и не существует двух противоположных. И тождество, и противоположность - это лишь абстрактные допущения в определенных логических интервалах; например, по признаку "холодного-горячего" все холодные вещи тождественны между собой и противоположны всем горячим вещам. Но такого рода абстракции лишь тогда привлекают мышление, когда оно одержимо демоническим инстинктом разрушения реальности.

Мышление подлинно творческое , заинтересованное в обогащении реальности, движется в логическом пространстве между тождествами и противоположностями, никогда не приставая ни к одному из этих пределов, но постигая и умножая различия. Как только мы утратим различие между холодными вещами, произведя между ними тождество, тотчас же явится их полная противоположность горячим вещам. Отождествление на одном конце производит противопоставления на другом. Вот почему, если ты с чем-то отождествил себя, то чему-то ты себя уже противопоставил, и наоборот. Вот почему правило всеразличия, действующее в сфере мышления, гласит: *ничего ни с чем не отождествляй и ничего ничему не противопоставляй,* ибо этим уничтожается различие и воцаряется смерть. Тождество и противоположность - это две абстракции различия, разрывающие его живую сердцевину на мертвые крайности:

сходство, лишаясь несходства, вырождается в противоположность, так что дальше начинается уже мертворожденная игра в "единство и борьбу противоположностей". Но зачем разрывать, а потом сшивать то, что изначально живо? - не для того ли, чтобы изготовить жизнеподобное чучело, набив его опилками диалектики, чьи категории "распиливают" бытие? Мир, которым овладевает диалектика, превращается в своего чучельного двойника. Скоро ли мы сможем сказать вместе с Достоевским: "вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое"?

Что же это другое? Другое есть - ДРУГОЕ. Сознание, которое вырабатывает в себе ДРУГОЕ, мы назовем Инаковым, или Альтернативным сознанием..." /Лев Шварцкопф, "Диалектика в Эдеме"/.

...Впрочем, все эти рассуждения против диалектики принадлежат скорее ученикам Я.А., чем ему самому. Я.А. был слишком тонким мыслителем, чтобы выступать *против*, чтобы противоречить самому противоречию. Он просто брезговал этими понятиями и предпочитал их не употреблять. Однажды он заметил, что понятия: "противоположность", "противоречие", "противопоставление" - сами разоблачают себя, потому что звучат противно. Это "против", которое они твердят, как заклинание, обращается против них самих в сердце говорящего. Язык так устроен, что изолгавшиеся слова сами произносят себе приговор.

Учение Якова Абрамова

"ПОЧТИ" И "ЧУТЬ-ЧУТЬ"

Одним из любимых слов Я.А. было "почти". Он употреблял его очень часто, подчеркивая, что даже там, где речь идет о чем-то подобном, одинаковом, все-таки имеет место маленькое различие. При этом он интонационно обыгрывал исконное значение этого слова как повелительной формы глагола "почитать". Произнося "почти", он иногда делал маленькую паузу, как бы приглашая слушателя вдуматься и оказать почтение той разнице, мимо которой мы обычно проходим, не задумываясь.

""Почти" означает, что в сближении двух вещей обнаруживается наименьшее различие между ними, которое достойно наибольшего почитания, как фундаментальный знак всеразличия. "Почти" указывает на зазор между вещами, который и есть пространство священного" / Тихон Кротов. "В мире вещей"/.

У некоторых авторов, особенно из крохоборов (10), слово "почти" пишется через дефих или с восклицательным знаком, как прямой призыв к почитанию.

"Возлюбить ближнего *почти* как себя, дальнего - *почти* как ближнего - вот чему учит всеразличие, не забывая прибавить к древней мудрости то "почти!", которое делает ее не только достойной почитанья, но и доступной для исполненья. Ведь ближнего нельзя всецело отождествить с самим собой, и эта неизбежная разница не умаляет значения нашей любви, а напротив, придает ей личностый смысл"
/ Леонид Бахтин. "О золотом правиле"/.

Порою в той же функции употребляется частица "чуть", имеющая превоначальное значение "чувствуй!", что также призывает вчуствоваться в малейшую непохожесть, обозначаемую этой частицей. Еще Лев Толстой указывал, что в искусстве главное - это "чуть-чуть", определяющее меру чуткости художника к мелочам жизни. Сергей Эйхенбаум в работе "Принцип всеразличия в теории искусства", развивая эту мысль, утверждает, что в искусстве вообще нет ничего, кроме мелочей, и "мелкость", "мелочность" - это важнейшая эстетическая категория, отличающая искусство от философии, религии, политики, которые всегда - о великом смотрят свысока и рубят сплеча, пренебрегая подробностями. Искусство - это откровение о Всеразличии, которое предшествовало всем его теориям, так же, как бессознательное в искусстве предшествовало его открытию в психоанализе.

"Область искусства - подсознательное и *наименьшее*, глубина и *тонкость*, которые выявляются совместно, в одном акте постижения, направленном на "чуть-чуть", - лежащее вне сознания и *вне отождествления*. Психоанализ взял у искусства его проникновение в немыслимое, а учение Я.А. - в нетождественное. /.../ Теория Всеразличия почти! совпадает с практикой искусства, и объединяет их то же самое, что их разделяет, - "чуть-чуть"" /Сергей Эйхенбаум, "Принцип всеразличия в теории искусства"/.

---

10. См. в следующей части главу о "крохоборах".

А, АКАТЬ

Я.А. широко использовал это слово в переносно-обобщенном смысле, как знак полой формы или расслабленной структуры. В отличие от словечка "слива", быстро перешедшего из круга учеников в

разговорный обиход и там ожаргонившегося, "акать" сохраняет в учении Я.А. строгий терминологический смысл, быть может, в силу его ясной мотивированности, что прослеживается по ряду источников.

Петр Читаев, "В середине нулевого мира":
"..."А" - терминированный (12) союз, означающий нерасчлененности соединительных и противительных связей в языке и мышлении. Если "и" - союз с четко соединительным, а "но" - с четко противительным значением, то "а" образует промежуток между ними - связывает слова, никак не дифференцируя характер связи. "Пошел на реку, *а* потом в лес, *а* тут навстречу ему медведь, *а* он и полезь на дерево, *а* сучок и подломись...а...а...а..." Связь "а" тянется, сцепляя все происходящее, все вещи на свете, но при этом не осмысливает связанного - сваливает в бесформенную груду. "В огороде бузина, а в Киеве дядька" - эта поговорка издевается прежде всего над зияющей бессмыслицей и напускной значительностью союза "а". Отсюда "а" приобрело значение "нулевого типа взаимосвязи..."

Далее автор описывает, как идет по центральной улице одного провинциального городка. "Со всех сторон слышится: " А Петька опять к ней притащился, а она его..." - "А он что?" - "А что в магазине сегодня давали?" - " А я ни за что не хочу..." - " А ты куда?" - "А зачем он мне!" - А-а, да ну его!.." Кажется, что со всех сторон разинула на меня рот великая русская равнина: удивляется - "А?", отмахивается - "А!" даже понимает - "А-а".

Все, что есть на свете определенного, связного, последовательного, это "а" проглотит и переварит - пустота, сосущая нас с жизнерадостной непосредственностью ребенка и тягучей задумчивостью идиота. Что предназначены мы сказать миру, застывшему в томительном ожидании от нас "последнего слова"? Не это ли долгое как его ожидание "а-а-а" - потянуться, как потягивается во всю свою ширину, словно разметавшись во сне, сама земля наша. Вся глупость наших мудрецов и весь ум наших дураков - в этом озвученном зевке накануне засыпания..."

Георгий Щедровский, "Интервалы": "...5.0.0. Связь между двумя элементами, существующую только в виде материального субстрата, но логически невычлененную, мы назовем "зияющей" /Хлебников поставил бы здесь слово "зиязь"/. Типичный пример зияния - "а" в русском языке: и как союзная морфема, и как гласная фонема. Как морфема, "а" слабо дифференцирует соединительную и противительную связь, употребляясь в значении неопределенного промежутка между частями разговора, рассказа - способа уклониться от причинной последовательности, начать заново, внести зиянье в смысловой поток - означенный и озвученный пропуск. "Скучал! - ответил Печорин, улыбаясь... - А помните наше житье-бытье в крепости?" Как фонема, "а" слабо диффененцирует разные способы артикуляции /передний и задний ряд, огубление-неогубление/, поэтому в слабой, безударной позиции "о" и "а" не различаются, совпадая в звуке "а"/"малако"/. В "а", таким образом, достигается нейтрализация

семантических и фонетических оппозиций, - озвученное безразличие духа-дыханья, нирвана языка.

5.0.1. Максимум логической расслабленности совпадает с максимумом материальной однородности и физической силы. Материальный субстрат зияний имеет тенденцию поглощать минус-информацией и минус-энергией. Когда нам нечем ответить, нечего возразить, или просто нечего сказать, мы на разные лады тянем "а-а-а", куда падают и пропадают все возможные смыслы. Изобилие "аканья" в русской фонетике и грамматике - признак иррационально тянущейся, смыслопоглощающей материи. /.../

5.1.0. "Акающим" может быть не только произношение, но и целый стиль жизни. "Акают" пустыри и свалки в городском интерьере. "Акают" длинные очереди в магазинах. "Акают" люди во время бездельной работы, оказываясь в "слабой", "безударной" позиции,, которую изредка пытаются "проверить", поставить под ударение разными инспекциями и инструкциями, призывами к ударному труду. Однако и сам труд в системе общественных отношений может попасть в слабую позицию и стать "безударным" - лишиться смыслообразующих признаков. Акают целые эпохи, проглотившие свой язык и потерявшие чувство времени...

Аканье съедает множество звуков, приравнивая их к одному, зияющему во весь рот разинутой немоты, во всю полноту своей непроизнесенности. И это прелестное свойство языка, изобилующего безударными позициями, с их небрежно-уравнительным произношением, может отозваться катастрофой в жизни нации, коль скоро ее общественный строй последует тем же законам, постепенно проваливаясь в черные дыры нейтрализаций и безразличий. Общество и язык - это две взаимно сопряженные структуры национального бессознательного. Вытеснение оканья аканьем постепенно происходившее с 14 по 16 века, сигнализировало о переломе в духовном строе нации: о нейтрализации звуков и смыслов в преобладающей позиции неразличения..."

Итак, Всеразличение, как оно выступает у Я.А. и его учеников, - это не просто извечное основание мира, но и потребность современной жизни, впадающей в смертельное безразличие.

Как писал через пятнадцать лет после его смерти Алексей Исаев, "всеразличие - это в наши дни философская программа национального спасения, которая, конечно же, не может стать делом всех, но должна стать делом каждого - задачей личной независимости и терпимости к личностям других. Клетки организма, делясь и умножаясь без качественного различения, образуют раковую опухоль. Общество, дальше других зашедшее по пути однородности и всеединства, находится на грани распада. Только всеразличие может его объединить. Рак пожрал треть человечества и дал метастазы почти по всей планете. Хирургические методы бесполезны, точнее,

самоубийственны. Необходимо включить защитный механизм размежевания клеток. Только различия могут объединить людей в здоровье, а не в болезни" /"У Рима рак - кара миру"/.

---

12. Т.е, ставший термином, употребляемый в качестве термина.

РАЗОВЫЙ

Сам Я.А. почти не употреблял этого слова, зато оно широко распространилось среди младших учеников, приобретя несколько вульгарный оттенок восхищения какой-либо вещью, поступком, явлением. "Разовый" - значит "отличныч", "непохожий ни на что известное", "единственный в своем роде". Предполагается, что это драгоценное свойство исходит от древнего бога Раза (11); впрочем, такая связь не обязательна и вряд ли подразумевается теми молодыми людьми, которые, обмениваясь впечатлениями от футбольного матча, не перестают восклицать: "Разовая игра! Разовый вратарь! Разовый угловой!" и т.п. Это словцо быстро перекинулось в молодежный жаргон и заняло в нем примерно такое же место, какое у предыдущих поколений занимали слова "железно!", "в натуре!", "клево!". То были дети танков, экологии и детанта, а нынешнее, не знаю уж, как его назвать, предпочитают говорить: "разово!" "Как дела?" - "Разово!" "Как побалдели?" - "Разово!"

Наряду с терминами и жаргонизмами, обозначающими различительные свойства вещей, среди учеников Я.А. бродило немало словечек с отрицательной экспрессией, обозначающих неразличимость.

ЧАСТЬ 3. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Переходя к последней части, мы заранее испытываем беспокойство за те причудливые формы, в которые облекалась мысль Я.А. у ряда его учеников. Здесь мы хотим рассказать о тех последователях Я.А., которые доводили до крайности идеи учителя, воспринимали их односторонне, вносили в их осуществление неудержимый пыл или пугающую странность. Возможно, эти перелицовки, переиначивания идей Я.А. и столо бы оставить за пределами данной книги, если бы инаковость не входила бы в само содержание этих идей, предполагавших следование через отталкивание, сохранение через отличие. Я.А. утверждал, что каждая вещь познается лишь в своих

крайностях; и поэтому само учение Я.А. не может быть по-настоящему понято вне тех крайностей и причуд, до которых доводилось оно у некоторых учеников.

Правда, учениками их можно назвать лишь условно, потому что обычно они очень недолго посещали Я.А., иные - раз-два и, наскоро усвоив малую часть его идей, пленившись какой-то оригинальной чертой, развивали ее до абсурда, вне всякой связи с другими идеями. Я.А. легко мог увлечь и одной беседой, но только длительное общение с ним могло принести настоящую пользу; кратковременное же порою даже причиняло вред, поскольку каждая из идей отклоняла от привычной колеи и лишь все вместе они направляли на путь цельного знания и духовного роста. Многие ученики, соприкоснувшись лишь с одной точкой учения, так и пошли по касательной, не заметив дальнейшего отклонения от этой точки в сторону растущего круга. Поэтому заключать некоторые разделы мы будем выдержками из этих самочинных учеников, которые, быстро отколовшись от круга Я.А., образовали собственные кружки, иногда, впрочем, расраставшиеся уже после его смерти, до целых общественных и культурных движений.

В духовной пустоте того времени - от середины 60-х до середины 80-х годов - всякая нетривиальная мысль находила себе рьяных последователей, а внешнее давление загоняло эту мысль в такое подполье души, что она делалась там полновластной царицей. Сколько всякий "движений", "течений", "направлений", как известных, так и совершенно безвестных, пошло от этих так называемых "учеников" и их частичных воззрений! На каком месте вошел в их умственную жизнь Я.А., на таком многие из них и остановились: одни   - на "всеразличии", другие - на "универсике", третьи - на каких-то религиозных, этических, политических, лингвистических идеях...

Однако и по этим жестким спрямлениям, этих тесным кружкам, хотя и соприкасаются они с учением Я.А. в одной краткой точке, можно угадать растущие, стремительные очертания всего круга его мыслей.

КРОХОБОРЫ

Это название следует понимать почти буквально, потому что и сами крохоборы слишком буквально восприняли учение Я.А. о том, что в мельчайших различиях являет себя сама Личность. Кто-то из них стал разглядывать и сравнивать даже хлебные крошки на столе, выстраивать их в ряды по принципу наименьшего различия, чтобы подпитывать в себе чувство неповторимого и священного. Идея крохоборов сотоит в том, что великое является только через малое, и в наименьшем малом - наибольшее великое. Поэтому они обращают внимание только на самые тонкие, трудноуловимые расхождения между вещами, ища наибольшего подобия, чтобы наименьшим было раличие. И вот это наименьшее различие они и чтут со всей чистотой и преданностью, какая подобает проявлениям Божества.

Некоторые из крохоборов были и остаются собирателями в традиционном смысле слова: коллекционируют старинные вещим значки, марки, монеты, этикетки...Но философкая страсть сделала их почти безразличными к ценности совираемых предметов, обратив интерес всецело к внутренним соотношениям, к структуре собрания. При этом естественные предметы, находимые в природе, в какой-то мере вытеснили искусственные, поскольку обнаружили гораздо больше степеней подобия и тонкостей различия. Иные крохоборы собирают листья с одного дерева и раскладывают их рядом в альбомах так, чтобы различие, почти невидимое между соседними листьями, постепенно возрастало от страницы к странице /нигде и ни в чем не переходя в противоположность - эстетика контраста чужда и даже отвратительна такому собирательству/. Этим утверждается мысль, что между всякими двумя несходствами можно поместить еще меньшее несходство, что путь опосредования безграничен и согласуется с творящей силой жизни.

Крохоборы не пользуются такими терминами, как "ценность" или "богатство" коллекции, но говорят о ее "сложности" или "тонкости"; понятие "редкой вещи", "раритета" опять-таки заменяется на "тонкая" или даже "тонущая" вещь, что означает - почти неотличимая от других, едва заметная в своей особенности. Этот дух тонкого различия, исходящий от очень похожих вещей, крохоборы вдыхают как нежнейшее благоухание. /Разумеется, идентичные вещи фабричного производства их попросту не интересуют, как лишенные благодати сходства-различия/. Совершенно бескорыстно они поклоняются "малым сим", - предельным долям мироздания, забытым и бессловесным единичностям, через которые достовернее всего поступает мудрость Неповторимого и Неповторяющего - того, кого поэт назвал "всесильный бог деталей".

По мнению крохоборов, священное являет себя в мельчайших - но обязательно ощутимых, осязаемых, наглядно различимых вещностях. Этим они существенно отличаются от молекуло- и атомопоклонников, а также приверженцев элементарных частиц, кваркообожателей и пр., которые имеют дело с неощутимым, а следовательно, как утверждают крохоборы, - с глобальными конструкциями собственного ума. Кварки на поверку оказываются столь же крупными, как материки или галактики, поскольку их малости никто не может удостоверить. Сами крохоборы чуждаются такой неопределенности - их влекут именно предельно малые доли осязаемого мира. Одни крохоборы посвящают себя изучению и проникновению в мир песчинок, другие - зерен, третьи - муравьев. Некоторые заняты подробным исследованием лохматых пылинок, роящихся в луче света. Иные изучают разные мелкие несообразности в окружающей среде: бугорки, утолщения, зазубрины, щербинки, вмятины, царапины. Есть крохоборы, специализирующиеся на чешуйках, семечках, снежинках, шерстинках, икринках, крапинках на яйцах, манных крупинках, земляных ложбинках и выбоинах - одним словом, на всем, что меньше всего другого, что труднее всего доступно изучению и, значит, более всего содержит и скрывает в себе. Крупные, заметные вещи, по мнению крохоборов, лишены таинственности и именно потому лезут в

глаза, что им нечего сказть; малость же означает спрятанность, сокровенность, требующую глубокого изыскания.

Мы процитируем одну из наиболее авторитетных и обобщающих работ этого направления /большинство их очень специально и посвящено вопросам коллекционирования и описания конкретных вещей/:

"Кто-нибудь, знающий одно лишь слово "крохоборы", может предположить, что за ним стоят скупцы, жмоты, стяжатели, которые скорее подавятся, чем отдадут лишнюю кроху. Действительность не имеет ничего общего с этим обывательским представлением. Мало кто сравнится с крохоборами в щедрости, поскольку они не знают и не хотят знать цены ценным вещам, предпочитая бесценные мелочи. Один из них - типичный пример - подарил другому прекрасный рояль, предварительно сделав в нем ремонт и настройку и оставив себе только поломанную, замененную пружинку. К этим бедным, искалеченным, никому не нужным вещам крохоборы приникнуты горькой нежностью. Они не исправляют их, чтобы вернуть к пользованию, но дорожат ими в том виде, в каком извлекли из беды. Скупые в малом, крохоборы расточительны в крупном, как и литературный герой, вызвавший немало споров в их среде, - гоголевский Плюшкин.

...Нельзя не прийти к выводу, что Плюшкин - великий образ, созданный великим писателем, но неправильно им истолкованный. В страсти Плюшкина к мелким, ненужным вещам есть нечто бесконечно трогательное, глубоко бескорыстное, что делает его отдаленным предшественником крохоборства. Если другие великие писатели: Шекспир, Мольер, Бальзак, Пушкин - изображали скупость в ее величественных формах и грандиозных потугах, как страсть к деньгам, к золоту, к роскоши, то у Гоголя является, один среди всех, очень странный скупой - в убыток себе. Плюшкин - это святой скупости, потому что из любви к вещам как таковым - в их малости, ничтожности - идет на огромные жертвы, теряет настоящее богатство. Мельницы, прядильни, суконные фабрики - все это идет прахом, потому что мелкий прах под ногами: старая подошва, железный гвоздь, глиняный черепок - становится дороже денег и золота.

"... С каждым годом уходили из вида более и более главные части хозяйства, и мелкий взгляд его обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате..."

Что ему в этих бумажках и перышках? Какая бессмысленная, расточительная любовь! По обыкновению своему Гоголь не хочет или не может заглянуть в душу своего персонажа и показать, что же движет им изнутри, какая самозабвенная нежность или жалость к вещам, совершенно лишенная приобретательского интереса. Плюшкин - подвижник идеи! но какой? Гоголь не мастер изображать идеи, и здесь он больше всего прогадал, потому что еще ни один персонаж ни одного писателя не идеалистичен до такой степени в своей приверженности материи. Только христианство сделало возможным Плюшкина, только самоотверженная любовь Спасителя к "малым сим". Плюшкин - это такая бескорыстная скупость "для самих

вещей", что в ней попирается сама скупость - и кажется, вот-вот выступит из нее сущность подвига, преображающего вещи любовью к ним, вот-вот засветятся они, как малые души, спасенные из своего ничтожества избравшей их любовью... Но нет, не засветятся.

Для Гоголя в его поэме главной надеждой стало величие родины: "Что пророчит сей необъятный простор? ... У! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!.." Что могло значить перед этой беспредельной далью плюшкинское копошение в ветоши? Только одно: "до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек!" Так ли? Пусть случайным предметам отдает свою душу Плюшкин, пусть не вносит в них строя и различия - но предметам же, а не пустоте - "необъятному простору", "незнакомой дали"! Время переставило ударенья, и другое уже мерещится нам в "грозно объемлющем" пространстве - дурная, обморочная беспредметность, душу грызущий соблазн. Он ли, русский человек, бешено гонится за пустотой на своей удалой тройке, никуда, ниоткуда? - или в этой "быстрой езде" сама пустота с разудалым посвистом гонится за ним, погоняет его, как панночка Хому, и - "черт побери все!" - изводит вконец?

Иное мерещится теперь и в Плюшкине. Пришло время для собирания мелочей, для долгого и старательного уплотнения всей среды нашего обитанья. Пришла пора человеку, гордо объявившему себя мерой всех вещей, увидеть в вещах свою малую меру - предел, о который определиться. Страшнее всего на этой земле - соблазн беспрдметности, и никогда не лишним будт предмет, пусть малый и случайный, который нас над этой пропастью держит.

Другой писатель, стоя на краю котлована, умудренный опытом своей титанической пустосозидающей эпохи, нашел в себе смелость схватиться за плюшкинское в человеке - и устоять. Андрей Платонов оказался проницательнее Гоголя в своем понимании мелких и спасительных крох жизни - но для этого, конечно, должно было пройти столетие непрерывного скаканья русской тройки, чтобы "могучее пространство" вдруг обернулось зияньем всеобщей могилы. Герой, роющий котлован и дивящийся его необъятной, бесцельной пустоте, - Вощев любит безродные вещи, находя в их точной, осязательной малости отраду своей тоске. В растущих зияниях котлованных времен те камешки и листики, которые он собирает в свой вещевой мешок, - свидетельства непреложного смысла существования. "Вощев иногда наклонялся и подымал камешек, а также другой слипшийся прах, и клал его на хранение в свои штаны... Его радовало и беспокоило почти вечное пребывание камешка в среде глины, в скоплении тьмы: значит, ему есть расчет там находиться, тем более следует человеку жить". Вещевой мешок Вощева так же набит всевозможными "предметами несчастья и безвестности", как жилище Плюшкина. Здесь тот же пристальный и скаредный подбор ненужных вещей, но уже глубоко сопережитый писателем, как сбережение самого "вещества существованья". Вощев хранит случайные камешки - но и они, в своей неистребимой предметности, хранят его. Растущая под ногамо пропасть духовно перекрывается теми частицами земли,

которые взяты из нее на храненье и, причастные человеческому существованью, держат его на себе. Поистине, "из бездны взываю к тебе, Господи!" Из глубины котлована, поглотившего ценность всго высшего и земного, этот камешек явлен как краеугольный камень новой веры, наполняющей смыслом последние остатки бытия, восполняющей его катастрофическую убыль. Последнюю землю, уходящую из-под ног, ласкают и сберегают человеческие руки.

Так обозначается глубинный смысл плюшкинской скупости как сохранения самого бытия в безбытной стране. Платонов договаривает наконец то, чего не договорил Гоголь, называя эту скупость не скаредностью, не измельчанием, а "скупостью сочувствия". Плюшкин - не накопитель, а собиратель, которому вещи дороги не богатством своим, а скорее бедностью и ветхостью; и сочувствие им, которое в его век представало бессмыслицей, век спустя стало способом сохранения смысла. Мелочи утепляют сердце в безмерном пространстве. Этот вечный Плюшкин, оживший в Вощеве, близок и понятен для тех, что крохами питаются, несчастьями утешаются, бессмыслицей умудряются..." /Иосиф Табачник. "Образы собирателей и скупцов в мировой литературе"/.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ИВАНА СОЛОВЬЕВА ОБ ЭРОСЕ

Составление и предисловие
М. Н. Эпштейна

(журнал "Человек", М., Наука, 1991, #1, с.195-212).

ПРЕДИСЛОВИЕ

Имя Ивана Игоревича Соловьева (1944-1990) мало что скажет большинству читателей - разве что среди них окажутся бывшие

ученики одной из московских школ, которые вспомнят с благодарностью своего учителя, безвременно ушедшего из жизни. Хотя Иван Игоревич преподавал только русский язык и литературу, его интересы простирались на самые разные области мировой культуры и носили характер почти энциклопедический. Он свободно мог сопоставлять философские взгляды Платона, Ницше и Фрейда, лирические произведения Пушкина, Гете и Байрона. Его уроки подчас резко вырывались за рамки школьного курса, вызывая неподдельный интерес учеников, ревность коллег, подозрение и неприязнь у вышестоящих чиновников от педагогики.

Иван Соловьев жил один, свободное время проводил в библиотеках, напряженно думал и много писал. Нечего было и мечтать о том, чтобы опубликовать хотя бы одну из его работ - настолько они не вмещались в границы общепринятого, "проходимого": не следовали никаким "заветам", не опирались ни на какие "основы". Но друзьям без утайки давалось почти все, что выходило из его старой дребезжащей пишущей машинки; и все это жадно читалось, многократно обсуждалось, давало пищу для размышлений и разговоров, по-своему освежало душную атмосферу застойных лет.

У меня сохранилось несколько законченных работ Ивана Соловьева, которые, думается, должны найти своего читателя, а также наброски к огромному сочинению, которое сам автор считал для себя основным и "окончательным". Это своего род энциклопедия умственных исканий и заблуждений человечества. Один из разделов книги предположительно назывался "Эротикон, или Обозрение всех желаний", откуда и взяты нижеследующие фрагменты. Их основная тема - разнообразие эротического опыта, который в трактовке Ивана Соловьева выступает как путь интимного, вовлеченного познания мира вообще.

Интересная особенность размышлений Ивана Соловьева - то, что они развертывались у него в форме "чужемыслей", авторство которых он старался угадать. Иван Соловьев разделял концепцию Михаила Бахтина о сознании как о множестве сливающихся и расходящихся голосов и пытался определить источник и направление каждого голоса, звучавшего в его собственном сознании. Поэтому свои тексты он подписывал разными именами, начиная от великих философов древности и кончая близкими друзьями. Он мог сказать при встрече: "А вот что ты вчера написал", - и протянуть собеседнику листки, подписанные его именем. В моем архиве скопилось немало текстов, автором которых Иван Соловьев удостоил быть меня. Из тех, что ниже предлагаются вниманию читателя, первый подписан Бубер-Фейербах, второй - Эрих Фромм, третий - Маркузе-Деррида, четвертый - Александр Никитин (ныне доцент кафедры философии Ярославского пединститута), остальные приписаны мне, и только последний Иван Соловьев подписал собственным именем.

1. К ТЕОРИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Иногда мне рисовалась в мечтах стройная система человеческого знания, основанного на эротическом опыте, теория соприкосновения, в котором тайна и достоинство другого существа состоят именно в том, что оно предоставляет опорный пункт для постижения другого мира. Наслаждение стало бы, согласно этой философии, особой формой, более полной и необычной, этого сближения с Другим, а также стало бы мастерством, с помощью которого мы познаем то, что находится вне нас.

Маргарет Юрсенар 1

Кто я? Где стою? Кем обрезан? Кем крещен? Необрезанный и некрещеный стою перед Господом: да сбудется воля Твоя.

Я крещен в водах материнского чрева. Я обрезан у основания своей пуповины. Я твой, Господи, - я обрезан и крещен Тобою.

Тело - храм: да святится в нем имя Твое. Мир - храм: да сбудется в нем воля Твоя.

Будем касаться друг друга, образуя легкий храм имени Твоего. Как имя - из букв, так храм - из прикосновений. Где один касается другого, там плоть Твоя, Господи.

Плоть Его трепетна, как испуг, и горяча, как любовь. Вспоминайте о Господе, прикасаясь друг к другу.

Осязанием познается Господь. Во плоти - начало Богопознания. "Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим". 2 Вера - прикосновение. Перст Фомы - испытание веры.

Нет ничего священнее прикосновения: к другой человеческой плоти. К ней прикасается мать, жалея дитя. К ней прикасаются муж и жена, желая сближения. К ней прикасается врач, исцеляя больного. Плоть во плоти находит спасение, исход в жизнь и бессмертие. Сама по себе - смертна, но бессмертно то, что возникает между нею и другой плотью.

Да коснутся друг друга все веры, все знания! Не смешением, не слиянием, а касанием оживляется жизнь в ее различиях. Прикосновение желанно и страшно, как все священное, как любовь Божия и страх Божий. Нет ничего сокровеннее чужой плоти, заключающей в себе тайну Духа живого. Нельзя слиться с этой тайной, нельзя обойти ее - только прикоснуться. Прикосновение - знак, что я остаюсь извне, присутствуя рядом.

Само по себе прикосновение двойственно: оно соединяет и разделяет. Оно преодолевает расстояние - и очерчивает границу. Прикасаясь, мы одновременно устанавливаем неприкосновенность того, до чего дотрагиваются наши пальцы. Прикосновением мы лепим образ неприкосновенного. Прикосновение хранит нас и от греха вторжения, и от греха разъединенности. Прикосновением полагается именно то, чему надлежит быть: граница. Сам Господь проводит ее нашими руками, чтобы мы не смели переступать ее. Плоть свята в своих границах. И прикосновение есть место границы, бытие границы, черта разделения-соединения, проведенная между всеми существами, чтобы хранить их от насилия и спасать от одиночества.

Каждый, кто прикасается к другому, прикасается к себе. Он

впервые осязает свою собственную кожу. Он впервые узнает ямочки, бугорки, рытвины - местность, через которую проходит его граница. Соприкосновение - два самопознания.

Благодаря соприкосновениям мир становится горячее. Два тепла, соприкасаясь, становятся огнем. Наружное становится внутренним. Граница оказывается внутри - средостением двойного бытия. Там, где переплелись пальцы или сдвинулись плечи, начинают биться маленькие сердца. Весь мир, выброшенный первотолчком в пустоту, разъединенный сам с собой, холодно раскинувший свои поверхности, свертывается в соприкосновениях и становится сердцем мира. Все внутри. Ничего, кроме сердца. Остаются глаза и губы, но все это уже обратилось в себя и, прижавшись друг к другу, бьется как одно огромное сердце.

Как устанавливается граница? Как личность обретает печать личности? Железом и водой. Обрезанием и омовением.

Касание - крещение для некрещенных, обрезание для необрезанных. Плоть мира освятил Господь, создавая нас во плоти. Плоть святится плотью. Там, где соприкасается внешнее, образуется внутреннее. Тут заповеданная нам чистота воды и глубина печати. Плоть во плоти оставляет след как исхождение Духа, как отпечаток и омовение.

2. ПРАВ ЛИ ФРЕЙД?

Одна моя знакомая как-то призналась, что получила наглядное представление об устройстве женского тела лишь внимательно разглядывая свою новорожденную дочку. Я поразился: ведь замужняя женщина, - и только тогда почувствовал всю бездну, отделяющую нас от женщин. Для нас это с детства - игрушка, потом орудие, и всегда на виду, ощутимо и достижимо. Оно - снаружи, а у женщин - внутри: такая тайна, что они и сами-то ясного доступа к ней не имеют. Себя не знают, а мы себя знаем: вот эта разница бытия из себя исходящего и в себя возвращенного и заложена в делении полов.

У Альберто Моравио есть роман "Я и он", состоящий из непрестанного диалога мужчины со своим членом: человек его укоряет, урезонивает, а предмет восстает и вовлекает в авантюры. Суть в том, что мой член - это, действительно, мой меньшой брат, мое второе "Я", непослушный двойник, обладающий столь же выраженным бытием, как и все мое тело. Это значит, что я изначально раздвоен, сам себе внешен, я у себя всегда под рукой, я застигаю и ловлю себя на "глаголе бытия", на "творческом слове".

А у женщины это не отдельный предмет, а принадлежность всего тела, зияние в нем: бытие не предстает самосознанию, а погружается в небытие. Потому-то и воля у женщины прежде всего к бытию, к продолжению рода, к слиянию с природой, что нутром она вся в небытии, в бездне, из нее глубоко сквозящей. Все, что есть, уже самим существованием своим имеет для женщины неизъяснимую ценность. Мужчина же своим бытием играет, трогает, кощунствует, рукоблудствует, как с предметом самосознания. И для него решающий вопрос - не о бытии, а о значении, о способах пользоваться и распоряжаться бытием, мыслить и переделывать его. Ибо как зачин

бытия внешен ему, созерцаем и осязаем, так и он внешен своему бытию, - словно постоянно видит себя в зеркале, себе подмигивает, сам себя с собой обсуждает. Не потому ли женщина так нуждается в зеркале, что, в отличие от мужчины, лишена его в самой себе: сокрыта, упрятана в свое нутро - и потому вынуждена во что-то внешнее глядеться. И зеркальце у нее всегда под рукой, как у мужчины - его природный двойник. Ему-то это хрупкое стеклышко в сумочке ни к чему, потому что он свое продолжение-отражение при себе живым носит и всегда может нащупать и опознать себя.

В каком-то отношении опытная женщина осведомлена о себе меньше маленького мальчика, который безделушкой своей играет с тех пор , как себя помнит, и держит ее в руках всякий раз, как ходит по-маленькому, и вообще чувство тайны к ней утерял, потому что много раз на дню ею пользуется.

Одно из главных открытий Фрейда - что девочки всегда завидуют мальчикам и что эта "зависть к пенису" есть определяющий момент женской психологии. У одних, дескать, есть то, чего нет у других. Действительно, таково человеческое предубеждение: иметь всегда лучше, чем не иметь. Но зато кто к кому более любознателен, кто в ком чувствует неисследимую тайну? Если с одной стороны допустить з а в и с т ь, то с другой - не менее сильное чувство   з а г а д к и, вызванное как раз неимением того, что мальчики имеют и знают обыденно и досконально. В девочке есть зов в неведомое, "туманная даль", и неизвестно, что в конечном сравнении более значимо: наглядное наличие или влекущее отсутствие.

Х1Х-ый век, шагая с Фрейдом во главе в ХХ-й, привык к позитивному, чуть ли не весовому решению вопроса о бытии: придаток к телу лучше, чем изъян и выемка. Но я никода не видел и не слышал, чтобы девочка завидовала мальчику, зато многократно замечался обратный интерес: мальчик старался подглядеть за девочкой, что же у нее на том месте, где у него известный предмет. И в отношении матерей, бабушек - все та же познавательная устремленность. Один знакомый вспоминает, как лет в пять, когда мать засыпала, он с фонариком залезал к ней под одеяло и пытался хоть что-то увидеть... Да где уж, если из мрака выступает только более темный мрак.

И в самом деле: то скрытое, темно сквозящее, что у женщины "вместо", обещает нечто гораздо большее, чем такой лишний в пространстве, бесприютно болтающийся, будто наскоро и не месту пришитый. Там - дальняя дорога, гудящая раковина в розовых телесных завитках, нежные створки и темный затвор, тайна тайн, а тут - висюлька жалкая, слабее пальца; ну куда с ней? только отходы выводить, вот и место ей среди отходов. Женщина внутри себя держит неведомое царство, далекое, за тридевять земель, с какими-то морями, туманами, островами, причалами, а у меня - все изглажено, исхожено, плоско, и только приторочена какая-то тряпица.

- Так я воскрешаю ход своих детских мыслей и убеждаюсь, что великий ученый к мальчишескому пустяку отнесся с чрезмерным почтением, а к девическому изъяну - с недолжным пренебрежением. Нет, если девочка и завидует телу мальчика, как чуть большему, с прибавкой, то мальчика увлекает и тревожит тело девочки как неизмеримо большее, с глубинкой. И не променять эту сморщенную прибавку на полный неизвестности вулканический мир, куда Алиса -

словно в самое себя - спускалась по темному жерлу.

Так и в отношениях взрослых полов... Мужчины выдумали завись женщин к их гражданским правам, тогда как гораздо больше, чем эта сморщенная от ежедневного, легального употребления прибавка, волнует единократное чудо зачатия, когда из глубин женщины выходит наружу целый невиданный мир. Променять ли этот неизвестный мир в человеке на права человека в известном мире?

Мне кажется, глубокие люди - всегда немного женщины. И если наблюдается у них какая-то зависть, то именно к зиянию и отсутствию.

3. О ДВУХ РЕВОЛЮЦИЯХ

В XX-м веке социальная революция произошла у нас, а сексуальная на Западе. Но не одна ли основа у обеих? Всякая революция есть переворот, т.е., буквально, ниспровержение верхов и возвышение низов. В социальной революции переворачиваются общественные низы и верхи: угнетенные слои становятся "руководящей" и "направляющей" силой. Даже искусство пытается изобразить из себя разновидность чернорабочего - пролетарского или крестьянского труда ("добыча радия" у Маяковского, "травяные строчки" у Есенина). Однако то же самое происходит и в сексуальной революции, только не общественные пласты переворачиваются, а душевно-телесные. Как пролетариат начинает доминировать над интеллигенцией, так инстинкт получает преобладание над интеллектом, нижняя бездумная головка - над царем в верхней голове. Угнетенные слои подсознания раздувают огонь мятежа, разбивают оковы Сверх-Я, низвергают тирана, подавляющего либидо, и вступают во владение всем человеком, всем психическим государством.

Вообще - какое богатство параллелей, перекличек! Обе эти революции совершались на гребне первой мировой войны, всколыхнувшей самое древнее и хищное в человеке, ввергнувшей его в состояние первобытной орды, - которую, кстати, и Маркс, и Фрейд единодушно считали прообразом раскрепощенной человечности, избавленной от классового антагонизма и репрессивной цивилизации.

Время нашей октябрьской революции и гражданской войны совпадает с взрывным распространением фрейдизма в западной культуре: тут и литературные бунты ("поток сознания", дадаизм, сюрреализм, "автоматическое письмо"), и политический радикализм на психоаналитической основе - собственно идея "сексуальной революции", "фрейдо-марксово" детище в лице Вильгельма Райха3. И тут и там происходит брожение культурно необузданных сил, вскипает темная глубина жизни, таившаяся под ее дневной поверхностью. Мировая война потому еще была мировой, что впервые продолжилась за пределом войны, в условиях мира: уже границы не между государствами стали сотрясаться, но внутри отдельных государств и отдельных личностей, между "верхами" и "низами" - границы, обычно незыблемые в мирное время. Все 1920-30-е годы - сплошная мировая война, вышедшая из милитаристской сферы в социально-культурную, а затем, через нарождение новых государств-левиафанов (СССР, Германия, Италия) и людей новой, стальной породы, вновь вернувшаяся на поля сражений, уже во вторую мировую войну. Аристократия и

интеллигенция, артистизм и интеллект - все было брошено в жертву и растерзание восставшим массам и восставшей материи, трактованной у нас как "производительный труд", у них как "потребительское наслаждение".

В именах двух революций эта разница уже была предначертана: "Маркс" означает "молот", "Фрейд" - "радость". Существенная разница именно в том, что сферой русской революции было общество, разрешение внешнего, классового антогонизма; а сферой западной революции был, в основном, индивид, разрешение внутреннего, психического антогонизма. Но в обеих случаях победу одержали социальные и психические низы, веками подавлявшиеся, оттесненные: пролетариат, питающий физическую мощь общества, и либидо, составляющее энергетический потенциал личности. А вместе - Фрейд и Маркс, "радостный молот", "либидоносный пролетариат".

...И все-таки в этом рассуждении есть ошибка. Разве власть перешла к пролетариату? да ведь его и не осталось почти в разоренной России. Это лишь идеология так учит: "диктатура пролетариата", "рабоче-крестьянская власть", "республика трудящихся". В действительности власть перешла к самой идеологии и полномочным идеологам, т.е. круче взлетела на верхний этаж ментальности, до какого прежде и не поднималась. Ну правили благородные сословия, "белая кость", "голубая кровь" - так ведь кость и кровь, а не идея! Ну пусть позже правили деньги, выгода, расчет, так ведь они-то еще связаны с низкой материей, с круговоротом веществ в природе и товаров в обществе. Товар хоть пощупать можно, на деньги - купить-продать что-то осязаемое, наличное... Нет, и кровь, и богатство - это еще не самый верх власти, идея куда выше. Дальше ее, впереди ничего нет - она одна озирает будущее, составляет громадье планов, шагает за горизонт видимого и возможного. Революция лишь по идейному своему замыслу дала победу материальным низам, а по фактическому итогу победила сама идейность. И власть верхов не перевернулась, не ушла к низам, а еще выше воспарила - социальный переворот обернулся лишь рычагом к ее возвышению.

Не то же ли самое произошло с сексуальной революцией? Конечно, нравы стали вольнее, либидо стало изживаться смелее, либеральнее. Но ведь и раньше, кто хотел, грешил напропалую, только под покровом ночи, в развеселых домах, в притонах разврата, в тайниках подполья и подсознания. В том и состояло значение сексуальной революции, что она это вывела наружу и обнажила сознанию. Если раньше кто-то скрывал от себя кровосмесительные влечения, то теперь по долгу просвещенного сознания он обязался их заиметь - и с детства домогаться маменьки. Вот и вопрос: подавленный инстинкт одержал победу, или это сознание расширило зону своего владычества до прежде недоступных и сокровенных участков тела и души? Ведь, в сущности, и Фрейд, этот Маркс сексуальной революции, отдавая бытийный приоритет темному либидо, стремился возвести сознание на такой аналитический уровень, чтобы оно психически просветляло его в себе. Психоанализ - клич к сознанию: выше и дальше. Прежде неосознанное - осознай! Прежде немыслимое - помысли! Если бедствие экономических кризисов разрешается плановым ведением хозяйства, то болезнь психических неврозов исцеляется осознанием вытесненных влечений. И результатом сексуальной революции сплошь и рядом стало

не столько торжество секса, сколько торжество сознания над сексом. Если раньше он упрямо прятался в штаны, под юбку, под одеяло, оставаясь стихийно возбудимым и неуправляемо приятным, то теперь сознание вытащило его на свет и стало пользоваться им как угодно: в любых позах, для любых целей - коммерции, революции, поддержания истеблишмента, сокрушения истеблишмента... Само наслаждение, извлеченное из семенных протоков, стало проводником идей, выгод и тенденций. Все это в широком смысле именуется порнографией, которую можно определить как дисциплину осознания, отчуждения и изображения секса.

Значит, социальная и сексуальная параллели все-таки пересекаются. "Идеология и порнография - близнецы-сестры". Предмет обеих - торжество материальных и социальных низов: трудящихся классов, совокупляющихся органов. На плакатах - цеха и поля, над которыми нависает могучая рабочая рука. На рекламах - нагая краса, призывающая к действию могучий производительный орган. Но то и другое - всего лишь "эйдосы"4: идеи и виды. Орудия для власти сверхсознания, которое раньше, в эпоху просто сознания, еще чуждалось и боялось материальных низов, взывало к духовному, разумному, доброму, вечному. Потом совершило переворот, опрокинуло это незрелое, классическое сознание посредством материальных низов, чтобы тут же возвыситься над этими низами и сделать их орудием своего идейно-эйдетического господства. Картины вдохновенного труда. Кадры впечатляющего блуда. Две формы ментальности: "идео" и "порно". Пишем: "труд" и "блуд". Остальное - в уме.

---

1 Эти слова французской писательницы, из ее романа "Воспоминания Адриана" (М., "Радуга", 1984, с. 38), Иван Соловьев взял эпиграфом к своей работе "Теория соприкосновения". Все примечания к текстам Ивана Соловьева принадлежат составителю.
2 Евангелие от Иоанна, 20:27.
3 Wilhelm Reich (1897-1957) - австрийский психотерапевт. В черновике своей работы Иван Соловьев проводит аналогию: если Фрейд - Маркс сексуальной революции, то Райх - ее Ленин.
4 "Eidos" - древнегреческое слово, обозначающее одновременно и "вид" и "идею" (все эти слова одного корня).

4. АСЕКСУАЛЬНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ И ФИЛОСОФИИ (ГОГОЛЬ И КАНТ)

Гоголь предстает в ряду великих русских писателей как личность наиболее загадочная, лишенная некоторых существенных атрибутов личности вообще. Об этом уже много писалось, но заметим

удивительное совпадение. Гоголь, основоположник критического направления в русской литературе, столь же асексуален, как Кант - основоположник критического направления в немецкой философии. "Ревизор" и "Мертвые души" закладывают основы "натуральной школы" и вносят в литературу ту же антидогматическую, деидеализирующую тенденцию, что и "Критика чистого разума" Канта - в философию. По сути, все творчество Гоголя - это критика "чистого воображения", "чистого изящества", "чистой красоты", в кантовском смысле слова. И наоборот, Кант умеряет притязания человеческой мысли на всемогущество, на всезнание, низводя ее к положению "маленького человека" в огромном непознаваемом мире. Из гоголевской "Шинели вышла замечательная плеяда русских писателей-классиков: Тургенев, Достоевский, Некрасов, Щедрин, Чехов. Из кантовских "Критик" - вся немецкая классическая философия: Фихте, Шиллер, Шеллинг, Гегель, Фейербах, Шопенгауэр.

Ни один из писателей, творивших великую русскую литературу, не чужд в такой степени проявлений пола и в жизни, и в творчестве, как Гоголь. Бурно-влюбчивый и необузданно-страстный Пушкин; плотски алчный и в то же время нравственно суровый к себе Лев Толстой; мистически извращенный, с садо-мазохистскими наклонностями Достоевский; иронически-холодный, откровенный и осмотрительный Чехов - в каждом из них проступает определенная половая личность. И только Гоголь - табула раса, сплошной пробел, отсутствие сексуального эго.

И однако некоторые образы: Подколесин из "Женитьбы", Иван Федорович Шпонька из одноименной повести, коллежский асессор Ковалев из "Носа" - подсказывают возможную разгадку. Откуда этот страх перед женщиной, эта нерешительность перед женитьбой? Нагляднее всего загадка выявлена - поскольку убедительно запрятана - в "Носе". То, что эта торчащая часть лица подсознательно отождествляется с пенисом, не вызывает у психоаналитиков ни малейших сомнений. Парикмахер неосторожно срезает бритвой нос гоголевскому герою, вследствие чего на его лице образуется плоское место. В результате расстраивается брак Ковалева с нравившейся ему девицей. Лишенный носа, Ковалев превращается в импотента, и только после того, как ему удалось вернуть самодовольного джентльмена на прежнее место, восстанавливается его мужская амбиция.

Какое же влияние этот "комплекс кастрации" оказал на творчество Гоголя, на критическое направление русской литературы?

Влюбление в действительнось, влечение к ее таинственной прелести сменилось холодным порицанием, умным смехом и отвращением; мир омертвился, в нем как будто закрылось живое лоно, истечение порождающих смыслов. Только видимые, косные формы, лишенные души и нутра, грандиозно разрастаются в художественной вселенной Гоголя. В героях описана причудливая наружность, которой придается самостоятельное значение, тогда как все внутреннее оставлено без внимания, будто слово писателя смущенно обходит этот неведомый, недоступный ему мир.

Но ведь "Критики" Канта произвели точно такой же переворот в философии, установив полную непознаваемость "вещей-в-себе" и обращенность их к нам только наружной, видимой своей стороной. Вещи даны только такими, каковы они "для-нас" - гладкими,

морщинистыми, скользкими, сухими; но об их внутренней природе, об их сущности и душе знать нам ничего не дано. Кант критикует привычку прежней, "догматической" философии нечто воображать о вещах и выдавать эти субъективные представления за их собственную природу. Отныне философия должна стать "воздержанной" и не вторгаться в "лоно" вещей.

У Канта, как и у Гоголя, субъект не способен интимно соединиться с объектом, найти в нем себя, проникнуть за его поверхность, освоить его изнутри. Человек замкнут в сфере собственных априорных (доопытных) суждений и нравственных императивов, которые характеризуют лишь его субъективную способность познания, совести, суждения, но не сливаются с объектом познания, не проникают в его глубину. Иными словами, субъект хочет, но не может. Он бессилен раскрыть вещь изнутри, актом вживания и взаимопроникновения. Весь этот эротический опыт прежней философии кажется Канту бахвальством и гусарством: мало ли что они говорят о женщинах... Метафизические бредни о баснословных победах ума над вещью. Как ни подступайся к "вещи-в-себе", она все равно остается неприступной.

Мир для Канта делится надвое. С одной стороны, идеи и идеалы, порожденные трансцендентальным субъектом; с другой стороны, непознаваемые, трансцендентные, безысходно замкнутые объекты. Свобода в душе человека и законы в устройстве природы никогда не соприкасаются между собой, взаимно не обусловлены и непроницаемы: это два абсолютно разных мира.

Так и у Гоголя. С одной стороны, высочайшие и сладчайшие идеалы, питающие его воображение, - патриотические, христианские. Образ России, чудной, сверкающей, неодолимо влекущей, широко раскинувшейся - почти сладострастен, напоминая порой панночку из "Вия" с ее ведьмовскими чарами. С другой стороны, пошлая, скучная действительность, лишенная души и огня, изображенная отстраненно и бесчувственно. Так человек, насытивший свое воображение игранием всяких женских прелестей, уже черств и безотзывен к реальной красоте.

Там - сверлит воздух недогонимая тройка. Здесь - люди тонут в душных перинах.

Там - что-то льнет, лобызает и хватает за сердце. Здесь - рой досадной мошкары.

Там - незнакомая земле даль. Здесь - пыльный скарб Плюшкина.

Соединить эти миры, испытать горячую трепетность и одушевленность самой действительности, - это Гоголю так и не удалось, несмотря на упорнейшие попытки во втором томе "Мертвых душ". Идеалы оказались плоскими, призрачными, лишенными сердечного биения - так воспринимает мир человек с пылким воображением, но с "жалом во плоти" (как выразился о себе Кьеркегор).

Человек с комплексом кастрации - по природе своей критик: мир для него мертв, посторонен, и яркая жизнь пылает только в душе. Если же и она угасает, то остается сплошной критицизм, как осталась после Гоголя "натуральная школа", а потом и вовсе - обличительное направление. Так и от Канта осталась, после всех превращений в классическом идеализме, немецкая школа философской критики, сначала словом, а потом оружием (Фейербах - Бруно Бауэр - Маркс). Кантовский и гоголевский дуализм остывают в пепле материализма.

Пошлый, безблагодатный, мещанский, филистерский, буржуазный мир, накопление душных материальностей, давящая плоть и "слишком много суеты" (как в анекдоте отзывается философ о подсунутой ему для опыта в постель "живой натуре").

Быть может, именно асексуальность, пришедшая на смену "наивной" и "нормальной" сексуальности, тайно произвела резкий поворот мышления к критицизму? Не семенем оплодотворить мир, так залить желчью, а потом перековать железом. Желчь вместо спермы и железный прущий революционный болван вместо влажного, упругого любовного проникновения - вот субстанция этой "безыдеальной" мысли, призванной "изменять" мир и реалистически "срывать" всяческие маски. Так стало уже в середине прошлого века.

А к концу века последовали новые формы сексуальности, но уже превращенные, прошедшие через ее отрицание: в русской литературе Достоевский, в немецкой философии - Ницше.

Ницшевское "дионисийство" и достоевское "мучительство", этот кипящий переизбыток сексуальности, нахлынул в европейскую культуру именно после долгого томления в стадии кантовско-гоголевской "кастрации", затянувшегося бесполого "реализма". Наслаждение на грани мучительства и мученичества; оргазм как великое достижение сверхчеловека и героическая победа над женщиной; оргазм как самозаклание и самораспятие у ног любимого существа, в образе сладострастного насекомого, испытывающего отвращение к своему липкому телу. Гениальная смесь жестокости и страдальчества. А главное - новый метод творчества и мышления, судорожный, безудержный, эпилептический, извергающий пену великих идей и афоризмов с яростью направленного семяизвержения...

Весь мир декадентства и символизма захлестнут, словно в хлыстовском радении, этой неистовой стихией, эротическим бушеванием художнического духа... Впрочем, это уже другая тема, века двадцатого, с его брожением оргиастических, аномальных, садо-мазохистских, промискуитетных стилей и методов. У истока же всех этих новых форм письма, переменивших саму природу философии и литературы, стоят два бесполых провидца, два вечных холостяка, - Кант и Гоголь.

5. ПЯТЬ РОДОВ ЛЮБВИ

Почему античный бог любви - мальчик с натянутым луком? Почему это пронзание молодых сердец доверено не юноше, не девушке, а младенцу? Не потому ли, что он в конечном счете и произойдет от их союза?

Не выражено ли тут у греков, задолго до Шопенгауэра, представление о том, что во всех своих страстях и схождениях мужчины и женщины ведомы лишь целью будущего зачатия, в которую и метит эта младенческая стрела? По Шопенгауэру, влюбленные, очарованные друг другом, на самом деле только орудия в руках вселенской воли, которая ищет наилучших сочетаний, чтобы породить самый жизнеспособный плод. Не столько ребенок рождается от брака, сколько брак понуждается волей будущего существа, влекущего своих родителей к соединению. И младенец Эрот стреляет в их сердца как бы

изнутри их чресел. Обратным вектором своим - оперенной стрелой - будущее поражает настоящее. Иначе как объяснить, что младенец в мифологии есть зачинщик, "застрельщик" любви? Тот, кто порождается любовью, сам порождает ее.

Таков изначальный парадокс любви, запечатленный в образах древнего мифа. Любовь - это средство продолжения рода, в ней изначально присутствует кто-то Другой, неизвестный любящим, но упорно толкающий их навстречу друг другу. И вместе с тем любовь всецело обращена на индивидуальность того, кого любишь, - все другое исчезает, растворяется в нем, Единственном. Условно это можно назвать "индивидуальным" и "сверхиндивидуальным" в любви, или "личным" и "родовым". И то, как это родовое привходит в личное и преобразует его, составляет те пять родов любви, о которых пойдет речь. (1)

1). Прежде всего, простое, нерасчлененное единство личного и родового, которое составляет обычную, "нормальную", брачную любовь. Соединение двоих порождает многих. Да прилепится муж к своей жене... Плодитесь и размножайтесь... Здесь действует избирательное начало самой богосотворенной природы, которое имеет простую форму закона и не обнажает себя в качестве парадокса.

Если же родовое осуществляется не в порождении потомства, оно парадоксально вторгается в отношения между индивидами, превращая их друг для друга в носителей рода.

2). Родовое привходит в любовь перечислительным, донжуанским способом, когда та или иная женщина или мужчина выступают лишь воплощением женского или мужского как такового. И тогда любовь направляется   на родовое женское или родовое мужское, которые постоянно меняют свои обличия, предстают в образе разных индивидов. Такая любовь требует измены, потому что именно измена есть путь обобщения, "генерализации" любви, перенесения ее на весь противоположный пол.

3). Любимое существо может восприниматься не как одно из многих, но как первое на пути восхождения ко всему, что достойно любви: ко всему прекрасному, высокому, вечному. Индивидуальное может преодолеваться в эросе через устремление к сверхиндивидуальным сущностям, столь же родовым, как и потомство, но лишенным телесности. Таков платонический род любви, предметом которой становится само "родовое" - "эйдос", вид, образ, идея. Чувство к любимому - это только упражнение в созерцании прекрасного, которое от бренного существа переносится на истинно и вечно пребывающее. Все множество красивых мужчин и женщин - это лишь преходящие явления той непреходящей и сверхчувственной красоты, в которую мы и влюбляемся - сначала в каком-то единичном ее образе, а затем, по мере созревания духа, в ее чистом духовном самобытии.

Суть пола - в размыкании индивидуальности, преодолении обособленного "я" и границ его тела. В поле утверждается некое "чрез-я", "над-я", "после-я" - родовое внедряется в особое через его способность порождать, через его плодоносящие недра. Это родовое может быть рядом столь же обособленных тел, как потомство в брачном союзе; может быть "родом" в донжуанском смысле - женским родом, собранием всех его представительниц; может быть "родом" в платоновом смысле - обобщенным, внетелесным, неуничтожимым

"эйдосом". Наконец, может, садически выражаться во взаимном истреблении отдельных тел и возвращении их в лоно всеприемлющей и всегубительной природы.

4). Садизм - еще один способ раскрытия этого сверхиндивидуального начала: посредством чувственного истребления самого индивида. Родовое здесь не порождается из особи, а стирает, поглощает, "обобществляет" ее в акте сексуального владения ею. То, что тело бренно, подтверждается не идеальным его созерцанием, а физическим насилием.

Так становится понятно, почему половое наслаждение, замкнутое на отдельном теле и не нацеленное на размножение, может порождать жестокость к этому телу и жажду его разрушения. Ведь наслаждение исконно связано с преодолением индивидуального, с задачей продолжения вида, и садизм тоже преодолевает индивидуальное, только не видовым размножением, а индивидуальным же насилием. Наслаждение здесь приближается к смерти, посредством которой вид преодолевает индивида и стирает его с лица земли, торжествует над всем конечным и единичным. Садизм и есть медленная пытка всего живущего наслаждением смерти, тогда как платонизм есть постепенное возведение всего живущего к наслаждению бессмертием.

Платон и де Сад - две крайности отказа от брачного в любви. В платонизме воплотилась сублимирующая, созидательная сила эроса, а в садизме - десублимирующая, разрушительная. Но характерно, что и творчество в духе, и разрушение во плоти одинаково отступают от природного закона воспроизведения подобных себе. Творчество прибавляет, разрушение отнимает, но оба враждебны уподоблению, простому воспроизведению настоящего в будущем, сохранению вида как потенциальной, дурной бесконечности индивидов.

В любом случае сексуальность, даже замкнутая на индивиде, не может обойтись без его отрицания - в уничтожении данного индивида, в перебирании множества индивидов или в устремлении к сверхиндивидуальной красоте. Так перед нами раскрываются три "аномальных", не-брачных пути человечества через эрос (2 - 4):

развернутый по горизонтали, в ширь перебора и перемены любящих индивидуальностей, при котором соединяются представители рода, самой сильной мужественности и самой красивой женственности - донжуанизм.

устремленный по вертикали ввысь, к сверхиндивидуальной идее, к созданию и созерцанию вечно-прекрасного - платонизм.

устремленный по вертикали вниз, к доиндивидуальной природе, к унижению и истреблению личностно-прекрасного - садизм.

5). Есть еще один, пятый род любви, о котором каждый узнает только на собственном опыте и о котором будет сказано в дальнейшем. (2)

6. ЭРОТИКА ТВОРЧЕСТВА

Самый мужественный мужчина - женщина перед Творцом. Перед материей же, покорной, льнущей, самая женственная женщина - мужчина. В сущности, есть лишь разные степени женственности и

мужественности между двумя пределами: материей и Творцом. Творческие мужчины обычно повышенно женственны, ибо ищут вдохновения, размягчают себя для вторжений свыше; как женщины, они умащают себя маслами и в благовонной ночи ждут своего Возлюбленного. Напротив, практические мужчины: плотники, лесорубы, кузнецы - повышенно мужественны, ибо имеют дело с материей и определяются в отношению к ней как формовщики, насильники.

У женщин же противоположное соотношение: те из них, кто занимается творческой работой (скульпторы, журналисты, режиссеры и т. д.), - более мужественны, чем швейки или гладильщицы, парикмахерши или медсестры. Ибо в них - формующий дух, а не податливая душа самой материи. Потому и сходятся между собой люди творческих профессий, что они как бы меняются своими половыми особенностями. Творческий мужчина - недостаточно мужчина для простой женщины, а творческая женщина недостаточно женщина для простого мужчины. Но друг другу они вполне подходят - как и ярко выраженные половые крайности плотника и ткачихи, кузнеца и доярки.

Закономерны и "перекрестные" притяжения: мужчину-творца влечет к простой женщине, потому что в ней органическая полнота другого пола, которую он только интуитивно угадывает в себе. В ней и через нее он глубже постигает тайну своего женственного предстояния перед Творцом. Точно так же и творческая женщина находит в грубом мастеровом органическое воплощение и развитие "мужского" зародыша своей души. Он для нее физически то, чем она могла бы и хотела быть в идеале своего призвания и мастерства.

Конечно, врожденный пол в творчестве не исчезает - но дополняется противоположным. Мужчина становится женщиной, пребывает в экстазе, горячке обостренной восприимчивости и интуиции - всех состояниях, знакомых простым, любящим, ревнующим женщинам. А женщина становится мужчиной - трезвой, строгой, деловой, неспособной к лихорадке и бреду, выдержанной, скептической, насмешливой - такой, какими обыкновенно бывают мужчины. Творчество, таким образом, возвращает человека из половинного состояния - в целостное; рождение в духе придает ему пол, противоположный врожденному.

В худшем случае это бесполость, отрицание физиологического пола (мужчины - кабинетные затворники, женщины - "синие чулки"). В лучшем случае - двуполость, яркая мужественность в гармонии с яркой женственностью (Гете, Моцарт, Пушкин, Достоевский; Цветаева, Ахматова...) У гениальных людей оба пола складываются, у бездарных - взаимно вычитаются. И даже по насыщенности полом, как замечал Василий Розанов, можно отличить перворазрядных творцов от второразрядных. Само творчество - энергия взаимодействия двух полов в одном существе: собой овладевает, себе отдается, и чем мужественнее и женственнее оно в этой борьбе, тем горячее ласка, тем пронзительнее смысл сочинения-соития. Однополое творчество всегда бесплодно: женское вырождается в пошлую задушевность и сентиментальность, мужское - в столь же пошлую заданность и тенденциозность.

В чем, однако, нельзя согласиться с Розановым: в "Людях лунного света" он признает лишь физиологическую, врожденную двуполость,

"муже-девство", из которой, будто бы, и вырастает все духовно значительное: пророки, мученики, творцы. (3) Но ведь Розанов выводит это муже-девство творцов именно из их творений, как бы проецируя их двуполую духовность обратно, на физическую природу. Иначе как он мог заподозрить в муже-девстве, например, Льва Толстого? ведь не по данным же его биографии, а по образам романа "Воскресение". (4) На самом деле двуполость как духовное явление именно создается в акте творчества, и заветная мечта об андрогинизме, слиянии двух полов в пределах одного существа, воплотима лишь через самопорождение в творчестве.

---

1. В подтексте рассуждений Ивана Соловьева - известная полемика Владимира Соловьева (в его статье "Смысл любви") с Артуром Шопенгауэром. Иван Соловьев пытается соединить обе концепции: абсолютизацию родового начала любви у Шопенгауэра и абсолютизацию личного, избирательного смысла любви у Вл. Соловьева. Именно парадокс соединения личного и родового и разные способы разрешения этого парадокса образуют, по Ивану Соловьеву, пять родов любви.

2. Эту загадочную фразу можно отнести либо к следующему фрагменту, "Эротика творчества", где любовь, соединяясь с творчеством, меняет родо-половую личность творца, либо, с большей вероятностью, к заключительному тексту в данной подборке - "Еленологии", где, действительно, изображается "пятый" род любви: любимое, в его единственности, становится универсальным, обобщающим знанием, источником понимания всех вещей. Это уже не платонизм, для которого индивидуальное есть лишь отправная точка духовного восхождения, - это именно завершение всего мироздания в личности любимого человека. Вообще можно заметить, что последние размышления Ивана Соловьева об Эросе приобретают все более личностную окраску, достигая кульминации и трагической развязки в "Еленологии".

3. Иван Соловьев, очевидно, имеет в виду такие разделы и главы розановской книги, как "Муже-девы и человеческая культура" и "Муже-девы и их учение". См. В. В. Розанов. Сочинения (серия "Из истории отечественной философской мысли"), т.2, М., "Правда", 1990, сс. 43-47, 73-107.

4. Там же, сс. 76-81.

7. РЕВНОСТЬ КАК ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Ревность, как тема, гораздо более выгодна для литературного сюжета, чем просто любовь. Любовь по определению затрагивает двоих: кто-то любит кого-то. Ревность - обязательно троих; сам глагол "ревновать", с лексической точки зрения, трехвалентен: кто-то (1) ревнует кого-то (2) к кому-то (3). Для сюжета не безразлично, какой валентностью обладают его элементы, велика ли их цепкость, способность втягивать и объединять другие элементы. Ревность позволяет вовлечь в сюжет несравненно больше персонажей, чем любовь сама по себе. Ревность, а не любовь лежит в основе "Илиады" (Менелай ревнует Елену к Парису), "Братьев Карамазовых" (отец - сын - Грушенька), "Короля Лира" (отец - дочери - их мужья), не говоря уж об "Отелло", "Вертере", "Красном и черном", "Евгении Онегине", "Анне Карениной" и пр. и пр.

Суть ревности в том, что она превращает любовь в нечто противоположное любви. Казалось бы, нет причин всем не любить всех, но тогда быстро исчерпались бы все литературные сюжеты, а возможно, и сверхсюжет всемирной истории. Любовь, ведущая к слиянию, сама по себе энтропийна. Но дело в том, что чем больше любви, тем больше и вражды, порождаемой ею же, любовью. И это единство любви-вражды есть ревность, которая тем самым превращается в мощный и по сути единственный регулятор страстей, каждая из которых, благодаря ревности, превращается в собственную противоположность: симпатия - в антипатию, восхищение - в зависть. Если бы в мироздании действовала только сила любви, все притянулось бы и взаимно слилось в плотно слепленном коме счастья, где каждая часть нашла бы часть по себе. Если бы действовала только сила вражды, мир разлетелся бы на частицы и развеялся в пустоте. Но мир не ком и не пустыня, а чередование плотностей и пустот, их постоянное живое перераспределение, творимое ревностью.

В строке Данте, завершающей "Божественную комедию": "любовь, что движет солнца и светила", - я бы "любовь" поменял на "ревность". Если бы только любовь, все планеты притянулись бы к звездам и сгорели в их пламени, а звезды упали бы в центр Галактики и образовали одно сплошное ядро, без разрежений для жизни. Да, планеты притягиваются к Солнцу, но есть и противоположно влекущая их сила, благодаря чему они вращаются, не падая; и эта сила притяжения-отталкивания есть ревность, основа небесной механики. Кто-то ревнует планеты к Солнцу и не допускает, чтобы они слились и сгорели в нем от всепоглощающей любви.

Теперь я понимаю, чего не хватает мне в эмпедокловой модели мира (1), которая строится на чередовании любви и вражды, - не хватает третьей силы, которая опосредовала бы эти две, превращала бы притяжение в отталкивание и наоборот. Любовь и вражда не просто чередуются, но одна содержит в себе другую, ибо полюбить - значит вызвать ревность других любящих. Сила отталкивания не сменяет силу притяжения, но живет в ней и действует через нее. Ревность - тот монизм, который объединяет дуально расщепленное мироздание.

Если искать то единое, что лежит в основе и литературных сюжетов, и космоса, и истории, что движет планетами, людьми, персонажами, - то это великая, неиссякающая ревность. Она завязывает в один узел любовь и ненависть и не позволяет им победить друг друга, но превращает победу каждой в ее собственное поражение.

Побеждает только Ревность; как чистая энергия всех расщеплений и взаимодействий.

Да и не только в космосе и истории... Сам Бог в Ветхом Завете называет себя Богом ревнующим - это едва ли не самое устойчивое из Его (само)именований. "Я Господь, Бог твой, Бог Ревнитель" (Исход, 20:5); "имя Его - "Ревнитель"; Он - Бог Ревнитель" (Исход, 34:14). "...Возревноваль Я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великою" (Захария, 1:14). Ибо "до ревности любит дух, живущий в нас" (Иаков, 4:5). Если бы Бог только любил своих избранных или только ненавидел грех, гневался на врагов своих, мировой процесс давно бы пришел к завершению. Но то единое и всемогущее, что лежит в основе Божьей воли - это не остывающая ревность, а она не дает до конца сбыться ни милости, ни ярости, но превращает одно в другое, и этим крепится и животворится мир.

8. РУССКАЯ КРАСАВИЦА

Русская красавица непременно стыдлива. Она отворачивается, руками и платком заслоняется, прячет ото всех свое сияющее лицо, ступает неслышно, живет незаметно, за околицей, как вечернее солнце. Нет в ней гордости и упоения своей красотой, как у греческой Афродиты. Видимо, само солнце в России стыдливо, редко свой полный лик кажет, чаще заслоняется облаками, занавешивается туманом, имеет вид застенчивый.

В русской красавице то же начало, что и в русском богатыре, который тридцать лет проспал на печи и встал только для решительной битвы. Скрытая красота, скрытая сила, которые нуждаются в великой причине, чтобы раскрыться, и не для праздного созерцателя, не для любопытного взгляда, а для единственного суженого - как и богатырь встает-распрямляется, когда на родину накатывается самый сильный враг. Красота - для милого, сила - для супостата, и все - для единственного: повседневная, будничная трата означала бы умаление чудного дара.

Да и жизнью Спасителя так заповедано, чтобы самый могущественный являлся в ветхом рубище и терпел крестную муку, чтобы потом, когда мир изверится, истоскуется от несвершившегося пророчества - вторично прийти, уже во славе. Мышление парадоксами присуще народу, который ждет главного - от неглавного, красивого - от невзрачного, сильного - от немощного.

Если античная богиня выходит из прекрасной пены морской, то русская красавица - из лопнувшей лягушачьей кожи, как в сказке о Василисе. Наша душа - спящая красавица, спящий богатырь, казалось бы, пропавшие навсегда для молодца, для народа, но только ждущие часа, особой надобы в себе, чтобы пробудиться и ослепить своей красотой, поразить силой. У Геракла и Афродиты мощь и краса бьют наружу, проявляются сразу же в подвигах ратных и любовных. Таков мир телесный, ничего в противоположность себе не таящий, и потому сюжет состоит не в переходе от слабости к силе, а в приключениях самой силы, встречающей извне все новые препятствия. Российские же качества вызываются наружу неким внутренним самопреодолением:

богатырю или красавице, прежде чем вступить в битву или отдаться любви, нужно преобороть собственный сон - смертный покой. Тут основной сюжет - не жизнь сама по себе, а ее восстание из смерти, воскресение.

Лебедь и голубь - два символа прекрасного: античный и христианский. В лебедя воплощается бог-громовержец для покорения возлюбленной; в голубя воплощается дух святой для разнесения благой вести по миру. Голубь сер, сиз, невзрачен, в нем - кротость, невинность, любовь, супружеская верность; лебедь - белоснежен, чист, ослепителен, сияет, как земное солнце, весь - горделивая красота и любострастный порыв. Голубь - вестник, посредник, быстрая и надежная связь, он весь - в других, для других; лебедь - как Нарцисс, любуется собой, купается в зеркальной стихии среди собственных отражений. Русская скромница-красавица чаще олицетворяется голубицей, даже еще более неприметной птицей: горлицей, кукушкой... Леда же, лебедь появляются у нас в антологической лирике на античные мотивы.

Зато... Поразителен бывает, на фоне скрытости и застенчивости, размах нашего бесстыдства. Оно являет себя вмиг, врасхлест, наотмашь, без плавной горделивости, но с какою-то душу берущей позорной откровенностью. Это не здоровое бесстыдство нагого, неприкрытого тела, как у эллинов, а бесстыдство мгновенно вздернутого подола. (1а). В этом бесстыдстве нет ничего пластического, эстетического, а напротив, одна безобразная судорога. Так бесстыдны бывают женщины у Достоевского, Толстого, Бунина, Горького, Куприна...

И неудивительно: ведь если красота у нас по сути своей стыдлива и требует покрова, то всякое оголение - постыдно и уродливо. У эллинов красота не прятала себя, скрывалось и затаивалось лишь уродство. В России же именно потому, что красоту принято прятать, уродство всегда рвется нараспашку, любит выставлять себя нагло и насмешливо. Да и во всяком показе и обнажении тотчас чудится что-то непристойное, не закон естества, а грех и соблазн. Какая-то непростота и трудность у нас между внешним и внутренним, не дано им прямо являться друг в друге. Непристойность - не обратная ли сторона стыдливости? Так самостеснение красоты рождает беззастенчивость душной, слепой, скомканной плоти, вываливающейся наружу.

9. ЗАПЯСТЬЕ

В первой влюбленности, когда все еще воздушно, нежно и крылато в чувствах, сильнее всего притягивает запястье милой женщины. Ужасно хочется теребить эти нежные кружевца, будто в них сосредоточился весь смысл твоей любви и вся прелесть твоей возлюбленной. Ведь конец ее рукава - это начало ее сокрытости, та граница, где видимое и открытое переходит в недоступное. И вот хочется пасть, взмолиться на этой границе, как на пороге дома; хочется губами, лицом, всем телом прильнуть к этому кружевному окончанию рукава, где сошлось тайное и явное, где плоть еще полускрыта, но уже

просвечивает. И сами эти кружева - какое сплетение видимости и сокрытости, какой обольстительный обман, чарующее ничто и ускользающее все! Сами эти кружева на запястье есть образ начинающейся любви с ее светлыми мучениями и уже темнеющим сладострастием. Кружева обволакивают запястье как сгущенный воздух, вытканный из пустоты, и само тело кажется здесь рожденным из морской пены, воздуха в кружевных петельках воды - чем-то тающим, невесомым, веющим, счастливым. Безумно хочется ласкать это кружевце, покрывающее запястье - столько в нем еще запрета и уже разрешенности, такая мучительная и счастливая черта... Сжимая запястье, играя им, уже все предчувствуешь, обо всем догадываешься, обо всем любимом, упругом, гибком, податливом. Перед этим изгибом первое чувство, нарастая и не растрачиваясь, остается в состоянии вечного первенства.

9. ЕЛЕНОЛОГИЯ. Опыт построения новой науки (2)

1. Еленология - это, в отличие от большинства других наук, наука об одном-единственном человеке, который в дальнейшем именуется Елена.

2. Науки об одном человеке, например, шекспироведение, наполеоноведение, пушкиноведение, марксология и пр. изучают, как правило, вклад данного человека в историю, литературу, религию, общественную мысль и т. д. В отличие от всех этих выдающихся людей, интересных тем, что они сделали, Елена интересна сама по себе.

3. Насколько бытие само по себе выше отдельных своих проявлений, настолько еленология выше пушкинистики, наполеонистики и прочих дисциплин, относящихся к уникальным достижениям, а не к самому существованию единичного. Еленология изучает не то, чего достигла Елена, в чем проявила себя, - а то, что она есть сама по себе, независимо ни от чего, просто потому, что она есть. Еленология - первая самостоятельная наука о единственном существе, которое удивляет тем, что оно есть, а не тем, чем оно стало или смогло быть.

4. По мнению Аристотеля, источник всякого познания - удивление ("ибо и теперь и прежде удивление побуждает людей философствовать... недоумевающий и удивляющийся считает себя незнающим..."3). Наиважнейшие науки возникают, следовательно, из наибольшего удивления. Очевидно, что Елена удивляет людей, хоть сколь-нибудь ее знающих, гораздо больше, чем мир каких-нибудь молекул, газов или чисел, из удивления которым выросли грандиозные науки: физика, химия, математика. Нужно быть совсем малочувствительным, чтобы, хоть раз увидев Елену, не удивиться ей, а удивившись - не развить своего удивления до целой системы познания, соответствующей неимоверной сложности предмета.

5. Если судить по исходному импульсу, т.е. силе удивления, то еленология должна в своем поступательном развитии перерасти все прочие науки и стать главнейшей из них, приводящей к общему знаменателю все их разрозненные усилия. Физика, математика, история, искусствознание - все они интересны и поучительны прежде

всего потому, что помогают познать мир, в котором могла появиться Елена.

6. Не все способны удивляться в равной степени; но тот, кто недоумевал больше всех, прошел разные стадии познания и все-таки остался незнающим, - ему, навсегда изумленному, вполне можно доверить основание новой науки. Человечество, убежденное силой его непонимания, должно признать за ним такое право. Если он считает себя несведущим, необученным - значит, науке в его лице предстоит наибольший путь.

7. Всякая наука начинается с определенного набора понятий, а заканчивается тем, что приводит эти понятия в систему, целостно раскрывающую свой предмет. В данном случае нам предстоит связать следующие понятия, приоткрывающие внешний и внутренний мир Елены:

а) просинь и прозелень глаз при общем сером колорите;

б) привязанность к собаке по кличке Ака;

в) стуки по ночам в квартире, особенно в пору полнолуния;

г) желание работать нянечкой в доме для престарелых;

д) узкий круг общения при готовности легко заводить новые знакомства;

е) отвращение к поездкам в метро и к ношению головного убора;

ж) вера в астрологические знаки, а также сильное, хотя и не всегда покорное чувство судьбы;

з) потребность перечитывать книгу Сэлинджера "Над пропастью во ржи" и любовь к стихам М. Цветаевой;

и) обилие каждодневно меняющихся проектов жизнеустройства, от переезда на другую квартиру до переезда в другую страну;

к) желание оказаться на берегу моря в тот момент, когда она находится только на берегу реки;

л) специальный интерес к писателю Федору Сологубу и к концепции демонического в его творчестве;

м) чувство отсутствия своей личности и необъяснимости своих поступков;

н) загадочное отношение внутренней близости и внешнего отчуждения от субъекта по имени И. (...)4

я) неуверенность в том, что на свете нашелся хотя бы один человек, готовый ради нее пожертвовать хоть чем-нибудь, например, жизнью...

8. Несомненно, что все указанные приметы, от "а" до "я", сходятся лишь в одном-единственном на свете существе, именуемом Елена, и только благодаря ему приобретают взаимосвязь и общий смысл. Никогда, нигде и ни в ком другом собака Ака и писатель Сэлинджер, желание оказаться на берегу моря и желание работать нянечкой в доме для престарелых не могли бы соприкоснуться и составить одно целое - именно такое, где эти явления становятся наиболее неожиданными и привлекательными для изучения.

9. В Елене обнаруживается новая, неведомая прежним наукам реальность, где американский писатель ближе дворовой собаке, чем любому другому американскому писателю, а поездка под землей ближе к ношению головного убора, чем к поездке в любом виде наземного транспорта. Эта загадочная реальность, необъяснимая методами других наук, требует особого философско-поэтического подхода к созданию

новой науки, отвечающей строжайшим критериям единичности. Зоология и литературоведение, медицина и география - вот на перекрестке каких дисциплин возникает еленология, не сводимая в отдельности ни к одной из них.

10. Еленология - интегральная область научного знания, которое в своей обращенности к единичному пользуется результатами общих наук, но не ограничивается ими, поскольку Елена неизмеримо больше любых обобщений, представляя собой исключение из всех правил и правило для многих исключений. В развитие еленологии главный вклад вносят близкие и знакомые Елены по мере углубления своих познаний о ней. Постепенно образуется среда межпрофессионального общения, объединяющая физиков и математиков, лингвистов и искусствоведов, психологов и социологов, астрологов и мореплавателей - всех, кто своим особым путем приблизился к искомой загадке и нашел в еленологии связующую нить разрозненных знаний о мире.

11. Цель еленологии - не только расширить наши общие знания о мире, но и внести методы и критерии, разработанные при изучении Елены, в сферу других дисциплин. Коль скоро Елена интересна сама по себе, то и предметы других дисциплин не могут не нести на себе отпечаток этого интереса и не заключать в себе неких свойств Елены и отражений ее личности. Например, градостроителей не может не заинтересовать резко отрицательное отношение Елены к подземным путям сообщения. Футурологов неизбежно должно привлечь обилие меняющихся сценариев будущего, характерное в особенности для Елены, но также и для всего человечества. Специалистов по ландшафту, несомненно заинтересует вклад Елены на ландшафтные свойства облаков и их формообразующее отношение к земным ландшафтам, - взгляд, который она позволяет себе отчасти разделять с И.. И независимо от того, внесет ли диссертация Елены значительный вклад в сологубоведение, еленология окажет неминуемое воздействие на развитие этой слаборазвитой дисциплины. Ведь специальный интерес, проявленный Еленой к Федору Сологубу, глубоко характеризует своеобразие его художественной концепции демонического и предопредляет возможность новых метафизических, психологических, мифологических и прочих трактовок этой проблемы, в соответствии с комплексным характером самой науки о Елене. (Для последующих изысканий рекомендуются, в частности, такие темы: "Ака и образ собаки в творчестве Ф. Сологуба"; "Сочетание зеленого, синего и серого в цветовой палитре Ф.Сологуба"; "Недотымка и луна в произведениях Ф.Сологуба, в связи с ночными стуками в квартире Елены" и т. д.).

12. Следует выделить особое значение вышеупомянутых пунктов (тезис 7) для развития следующих дисциплин:

пункта а) для развития живописи и искусствознания;

пункта б) для новых теоретических изысканий кинологии (особенно в области изучения беспородных собак);

пункта в) для фактического обоснования оккультных знаний;

пункта г) для развития геронтологии и врачебной деонтологии;

и т. д. и т. п.

Еленология способна питать все науки, потому что в Елене заключено то неизвестное, что способно их всех обновлять, вызывая дальнейшее удивление, так что предмет еленологии становится все

более таинственным, создавая сферы ясности в других видах познания.

13. Каждая вещь имеет в себе нечто еленообразное, поэтому, гуляя по многолюдному городу или по безлюдному лесу, в любых условиях и по разным поводам, хочется произносить имя Елены, относя его

и к облаку, потому что оно вообще как Елена;

и к траве, потому что она зелена, как глаза у Елены;

и к озеру, потому что оно туманится, как глаза у Елены;

и к муравью, потому что Елена сравнила с ним свою повседневную жизнь;

и к дереву, потому что его ствол клонится от ветра и делится на все более тонкие ветви, как судьба Елены;

и к асфальту, потому что Елена часто вглядывается в него, бродя с опущенной головой;

и к трамваю, потому что на таком же трамвае Елена когда-то ездила в гости к И.;

и к любому прохожему, потому что он мог бы видеть Елену и удивляться ей, если бы ему посчастливилось встретить ее.

Еленологический аспект всех вещей раскрывается в доступном, но не достижимом для них совершенстве: быть рядом с Еленой и нужным ей.

14. Одно из фундаментальных понятий еленологии - "целомудие игры" или "чистота соблазна" - проявляется во множестве ранее отмеченных и крайне противоречивых феноменов, таких как

зелень леса и голубизна неба, опосредуемые прозрачно-серым, смутно сияющим воздухом ее глаз;

повышенный эгоцентризм при отсутствии эгоизма; "я" во всем, но ничего для себя;

твердость характера наряду с податливостью воли, готовой увлекаться всем и ничему не подчиняться;

стремление загрузить себя полезной работой - и легкость пренебрежения как работой, так и всяческой пользой;

причудливый, рвущийся рисунок беседы, в которой фразы говорят меньше, чем слова, а слова меньше, чем паузы, но еще большее значение имеют: 1) шаги, 2) взгляды, 3) прикосновения, 4) состояния природы, 5) воспоминания, 7) времена года, 8) положение облаков, 9) встреченные вещи, 10) невысказанные мысли, 11) утаенные пожелания, 12) разгаданные пожелания, и т. д.

15. Каждая черта в Елене проявляется лишь настолько, чтобы составить контраст другой черте, - так, во всяком случае, считают некоторые специалисты. Другие полагают, что Елена - кроткая, преданная и любящая натура, которая просто еще не пробудилась от сна предсуществования и поэтому переживает сразу все стадии органического развития личности, включая личинку, кокон и бабочку. Пока что преждевременно разграничивать эти стадии: личинки-кокетки, кокона-циника и бабочки-принцессы, но очевидна их поступательная метаморфоза, из которой вскоре выпорхнет крылатая душа. Третьи специалисты-еленологи видят основную специфику изучаемого явления в его ранней очаровательности, приведшей к фиксации на детских стадиях развития. Четвертые находят в этом хитросплетении невинности и соблазна сеть для уловления неопытных, но вдохновенных душ и для разлития их творческой энергии в

женственном лоне мироздания. Несмотря на эту борьбу различных школ и направлений в еленологии, все специалисты сходятся в том, что познание как акт слияния познающего с познаваемым все еще недоступен им; и то самое недоумение, которое так возбуждает их ум, оказывается и непреодолимым заслоном для ума.

16. В самое последнее время среди еленологов развилась одна страшная ересь, подвергшаяся отлучению от большой науки. Согласно этому вероучению, Елена есть любовь и ничто иное, кроме любви, а поскольку подобное познается только подобным, то еленология есть не что иное, как возрастающая любовь к Елене - высочайший из всех возможных актов познания.

17. Однако все эти еретики, упорствуя в познавательном значении своей любви к Елене, не приводят ни малейшего убедительного доказательства того, что Елена есть любовь. Отсутствие доказательств оправдывается тем, что обнаружение этого сокровенного свойства Елены может исходить только от нее самой. Величайший долг упорствующих в ереси - терпеливо ждать этого проявления, каковое станет подтверждением истинности их веры.

18. Что для науки доказательство, то для веры - жертва, и больше к этому нечего прибавить, поскольку я дошел до пункта "я".5

---

1. Эмпедокл (ок.490 - ок. 430 до н.э.) - древнегреческий философ.

1а. Вряд ли Иван Соловьев был знаком с "Заветными русскими сказками" А. Н. Афанасьева (Женева, 1872?; в России изданы только после 1991 г.), которые подтверждают его догадку: женщины в них никогда не раздеваются, а только задирают подол, сразу, без всякого перехода, обнажая самое заветное место.

2. Этот фрагмент - один из последних в рукописном наследии Ивана Соловьева. Что касается его строгой тезисной формы, то объяснение этому можно найти в другой работе Ивана Соловьева: "Форма должна противоречить содержанию, и чем больше страсти в одном, тем бесстрастнее другое" (эссе "Стиль как неудача").

3.Аристотель. Сочинения в 4 тт., т.1, М., 1975, с. 69.

4. Мы исключаем из списка те пункты (от "о" до "ю"), которые касаются интимных сторон жизни конкретного лица. Что касается соотношение "единичного" и "всеобщего" в имени Елена, то здесь можно привести суждение Ивана Соловьева о его великом однофамильце, философе Владимире Соловьеве: "Он создал свою софиологию (учение о Вечной женственности, о Премудрости Божией - М.Э.) только потому, что почти всю жизнь был влюблен в Софью Хитрово. Софиология - учение об этой Софье".

5. Имеется в виду пункт "я" из тезиса 7, который, возможно, многое объясняет не только в науке о Елене, но и в судьбе самого Ивана Соловьева.

Пункт "я" имеет еще и особое значение для Ивана Соловьева как точка исчерпания речи. Ср. отрывок из его статьи "Семиотика молчания": ""Я" - единственный языковой знак, в котором субъект высказывания совпадает с его объектом. Тем самым преодолевается двойственность самого знака (различие означающего и означаемого), а следовательно, упраздняются основания языка как системы знаков. Слово "я" - уже не знак в обычном смысле, скорее, это граница между знаком и не-знаком, переход от речи к молчанию. Словом "я" озвучена тишина".

Источник: http://old.russ.ru/antolog/intelnet/mv.html